

Леонид Карпов



**Циничная
училка. Том 5**

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 5

<https://litres.ru/74239742>

SelfPub; 2026

Аннотация

Уроки литературы в провинции – это поле боя. Командует им Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель РФ, лилипутка с ядерным филологическим интеллектом. Она препарирует шедевры, обнажая пороки героев, о которых молчат учебники. Иногда Пушкина перемещается в прошлое, устраивая допросы литераторам прямо у них на дому. В заключительной части серии от нее пострадали Чехов и Эзоп, Шекспир и Л. Толстой, Шолохов и Твен, Тургенев и Шукшин, Тэффи и Уэллс, Хайнлайн и Хемингуэй, Чернышевский и Шаламов.

Содержание

«Солнце, Месяц и Ворон Воронович», русская народная сказка	5
«Старик и море», Э. Хемингуэй	11
«Старик Хоттабыч», Л. Лагин	17
«Сто лет одиночества», Г. Г. Маркес	22
«Судьба человека», М. Шолохов	27
«Таинственный остров», Жюль Верн	34
«Тарас Бульба», Н. Гоголь	40
Тарас Чупрынка	46
Твен, Марк	52
«Темные аллеи», И. Бунин	58
«Тимур и его команда», А. П. Гайдар	63
«Тихий Дон», М. Шолохов	69
Толстой Лев Николаевич	76
«Толстый и тонкий», А. Чехов	83
«Трагедия», Тэффи Н.	89
«Три мушкетера», А. Дюма	95
«Три сестры», А. Чехов	101
«Три товарища», Эрих Мария Ремарк	107
«Три толстяка», Ю. Олеша	113
«Трое в лодке, не считая собаки», Джером К. Джером	119
Троепольский Гавриил Николаевич	124

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 5

«Солнце, Месяц и Ворон Воронович», русская народная сказка

Сиреневый туман провинциального вечера лениво наполнил на заброшенные трибуны стадиона «Локомотив». Здесь, на щербатом бетонном парапете, под сенью полувековых тополей, застыл осколок ушедшей цивилизации. Девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного духа Золотого века русской литературы. Герой Труда, Народный учитель Российской Федерации Александра Сергеевна Пушкина, чье пальто детского размера пахло лавандой и крепким табаком, смотрела на ржавеющие футбольные ворота с той непередаваемой, скорбной нежностью, с какой смотрят на руины Карфагена.

Рядом, поджав длинные ноги, сидел Вадим Желтохулев – молодой учитель физкультуры, попутчик по вечернему шопингу, безропотно тащивший завязанный бечевкой холщовый мешок с крупкой весом аккурат в ее собственные двадцать пять килограммов. Александра Сергеевна лично купи-

ла его на оптовом рынке и использовала физрука в качестве тягловой силы, попутно просвещая его темный разум.

– Вы только вслушайтесь в эту хтоническую симфонию, Вадичка, – голос лилипутки, неожиданно глубокий, грудной, бархатный альт, казалось, вибрировал отдельно от ее миниатюрного тела. – Народная сказка «Солнце, Месяц и Ворон Воронович». Четвертый класс. Чистые, невинные души касаются истоков. Это же величайший космогонический миф о сакральной жертве! Старик, этот скромный жрец бытия, рассыпает крупички земного хлеба – плоть самой Матери-Земли. И ради того, чтобы вернуть этот священный порядок, ради гармонии макрокосма, он отдает своих дочерей стихиям. Солнцу, дарующему жизнь! Месяцу, хранителю ночных тайн! Ворону, проводнику в чертоги предков! Какая жертвенность, какой библейский масштаб отречения от земного ради небесного...

В этот момент на беговую дорожку с хриплым кашлем выкатился местный маргинал в засаленных трениках. Он попытался подтянуться на низком турнике, утробно пукнул от натуги, матерно выругался на весь стадион и, плюнув в одуванчики, поплелся прочь.

Александра Сергеевна замолчала. Глаза ее, огромные, навывкате, сверкнули из-под полей шляпки-таблетки ледяным блеском хирургического скальпеля. Великая филологическая магия испарилась, уступив место бескомпромиссному, кристальному презрению.

– Господи, Вадим, какая же это феерическая чушь, – сухо отчеканила она, достав из кармана портсигар. – Какой космос? Какие жрецы? Перед нами – абсолютный, эталонный манифест потомственного дегенерата и бытового паразита. Давайте препарируем этот шедевр фольклора без школьного сиропа.

Она прикурила тонкую сигарету. Дым окутал ее крошечное лицо, сделав похожей на злого капризного гнома, знающего дату конца света.

– Начнем с завязки. Старик идет в амбар за крупкой. Мешок дырявый. Крупа сыплется. Что делает нормальный homo sapiens? Зажимает дыру кулаком, перевязывает бечевкой или пересыпает в подол. Что делает наш ментальный инвалид? Он идет до самого дома, теряя все подчистую, а потом возвращается собирать зерна из грязи. Это не трагедия, Вадичка, это терминальная стадия слабоумия. И тут включается классический психотип нищebroда: вместо труда – вера в халяву. Он готов продать родных девок первому встречному столбу, лишь бы не горбатиться на карачках. С потрохами сдает деточек космическим ОПГ: Солнцу, Месяцу и птице. Причем заметьте, как оформлена сделка: «Оденься хорошенько да выйди на крылечко». Он их даже не выдает замуж, он их выставляет на панель! Готовит товар к съему.

Александра Сергеевна сплюнула крупинку табака и зловеще усмехнулась:

– Но цимус не в этом. Дальше начинается чистая психи-

атрия. Старик идет в гости к зятям. Зачем? Скучает? Хрен там. Шкурный интерес и жажда легкой наживы. И как же его встречает элита? Солнце жарит оладьи прямо на своем сияющем заду. Месяц светит в бане через палец. Ворон предлагает спать на насесте. И вот тут русский мужик совершает свое главное ментальное преступление: он путает божий дар с яичницей, а магию – с технологией. Он возвращается к старухе и требует: «Жарь на мне!»

Она сделала паузу, подавляя Желтохулева своим колоссальным интеллектуальным полем так, что бедный физрук притих, боясь пошевелиться.

– Понимаете уровень катастрофы? Это же карикатура на карго-культ! Старик искренне уверен, что если он сядет жопой в лужу и на него поставят сковороду, то законы термодинамики от стыда капитулируют перед его авторитетом. В итоге оладьи прокисли. С баней – еще чище. Месяц – это небесное светило, у него природа такая – люминесценция. А наш дурак рубит топором дыру в собственной бане – уничтожает теплоизоляцию, заметьте! – и сует туда свой грязный палец. Старуха орет: «Темно!», а он, небось, стоит, гордый своей инновацией, и ждет, когда из мизинца ваттметры потекут. Это же гениальный портрет агрессивного невежества.

Пушкина прыгнула с парашюта. Ее крошечные лакированные туфли двадцать четвертого размера глухо стукнули о бетон. Она едва доставала физруку Желтохулеву до пояса, но сейчас казалась гигантом, смотрящим на человечество

сверху вниз.

– Ну и финал. Вишенка на этом торте деградации. Старик претя к Ворону. Ворон – хищник, падальщик, птица с совершенно иной анатомией. Он зовет тестя спать на седло. И этот старый кретин лезет по лестнице на дерево! Девяносто процентов школьных хрестоматий сурово обрывают текст на фразе «они упали и убились». Кажется, есть еще версия, где старик выжил, чуть не испустив дух, но суть неизменна. Нас с четвертого класса учат сопереживать существу, у которого инстинкт самосохранения отсутствует начисто. Он лезет на птичий насест, засыпает, падает и ломает хребет просто потому, что у него нет критического мышления. Вообще. Да еще и гостеприимного Ворона угробил.

Александра Сергеевна поправила шляпку и взяла из рук опешившего Желтохулева свой ридикюль.

– Эта сказка, дорогой мой, не про звезды и птиц. Это жесточайший, беспощадный диагноз нашему глубинному народу, который готов разрушить баню, продать дочерей и расшибиться насмерть в попытке скопировать чужой успех, вместо того чтобы просто зашить, блин, дырку в мешке. Кстати, Вадичка, хватит отдыхать, берите мешок. Если вы просыплете крупку – Солнцу я вас не отдам, а вот в бане без света запру. Пойдемте, дорогой. От этой литературы у меня разыгрался аппетит, а дома меня ждет прекрасная, абсолютно прозаическая гречневая каша с тушенкой. Для нее-то мы мешок и перли.

«Старик и море», Э. Хемингуэй

Осеннее солнце в провинциальном городе N не грело, а лишь подсвечивало многолетнюю, въевшуюся в стены школы № 36 грязь. Воздух в кабинете русского языка и литературы был густ и неподвижен, словно застоявшаяся вода в болотце. Он дышал ароматами мокрых шерстяных пальто, дешевого дезодоранта и неистребимого подросткового уныния.

За массивным дубовым столом едва виднелась аккуратная седая макушка. Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель Российской Федерации, сидела на специальном высоком стуле.

Природой ей было отпущено ровно девяносто сантиметров роста. Однако этот хрупкий телесный сосуд вмещал в себя такую грозную, леденящую филологическую мощь, что даже самые отпетые хулиганы забивались под парты, едва ее немигающий взгляд падал на класс. Миниатюрная, как фарфоровая статуэтка, с точеными тонкими пальцами, она казалась древним божеством, случайно запертым в теле лилипутки.

Она поднялась во весь свой крошечный рост прямо на столе. Класс притих. По задним партам, где обычно кучковались девицы с надутыми губами и пустыми глазами, пробежал благоговейный трепет.

– Дети, сегодня мы обратим взоры к великой мистерии человеческого духа, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный, зазвучал под потолком, подобно виолончели. – Мы открываем Эрнеста Хемингуэя. «Старик и море». Какая безбрежная, хрустальная элегия о достоинстве! Послушайте, как поет этот текст. Это гимн одиночеству, благородному противостоянию человека и предвечного Хаоса. Старик Сантьяго – это же библейский Иов, ведущий безмолвный диалог с Творцом посреди неоглядного Гольфстрима. А марлин? О, этот великий серебряный марлин – не просто рыба. Это символ неосуществимой мечты, чистая платоновская идея красоты, которую человек призван любить и уничтожать одновременно. Какое величие в этой трагедии, какая жертвенность в каждом движении лесы, режущей ладони до кости...

Сидевшая на первой парте Ксюша Новоплядова, местная королева дешевого гламура, шумно вздохнула и попыталась незаметно подкрасить губы блеском «сочный персик». Тюбик с тихим щелчком выскользнул из ее наманикюренных пальцев и покатился по линолеуму, глухо стукнувшись о ножку парты.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка ее голоса оборвалась. Она медленно опустила голову, и ее огромные навывкате абсолютно мертвые глаза зафиксировали Ксюшу. Класс замер, предвкушая казнь.

– Новоплядова, – сухо, без тени прежней мелодичности,

произнесла Пушкина. Стилъ еѳ речи мгновѳнно мутировал в холодный скальпель патологоанатома. – Подбери сопли и свой дешевый пластик. И вы все, стадо непуганых дегенератов, закройте рты. Хватит пускать розовые слюни на Хемингуэя. Давайте-ка снимем эти гребаные очки сентиментальности и препарируем этого вашего «героического» старика.

Она сделала шаг к краю стола, сверху вниз глядя на при- тихших восьмиклассников. Сейчас Пушкина возвышалась над ними как сталинская высотка.

– Вся эта повесть – не про величие духа. Это клиниче- ская история терминального эгоизма, тупости и старческого маразма, – отчеканила Александра Сергеевна. – Кто такой Сантьяго? Обычный упертый неудачник, у которого амби- ций выше крыши, а профессионализма – ноль. Он восемь- десят четыре дня возвращается без улова. Вдумайтесь в эту цифру. Человек занимается одним ремеслом всю жизнь и умудряется оставаться с пустыми сетями почти три месяца. Он абсолютно профнепригоден! Но вместо того чтобы при- знать, что он лузер, старик начинает дзюбировать на соб- ственное несчастье, превращая банальную нищету в «свя- щенное страдание».

Пушкина прошла по столу, еѳ маленькие туфельки зло- вѳще цокали.

– И вот этот маразматик решает доказать всему поселку, что у него еще стоит... хм, парус. Он уплывает черт-те куда. Без рации, без нормального запаса воды, без страховки. На-

стоящий камикадзе из дома престарелых. Ему везет – ключет гигантский марлин. И тут начинается чистая психиатрия. Вместо того чтобы трезво оценить свои силы – а мы помним, что у него уже одну руку сводит судорогой от старости и голода, – он устраивает трехдневный садомазохистский катарсис. Он разговаривает с рыбой! Называет ее братом! Дети, если ваш дедушка на даче начнет брататься с карасем и обещать ему умереть вместе с ним, вы вызовете ему скорую из психушки. А Хемингуэй продает вам это как экзистенциальную драму.

Она остановилась, презрительно прищурившись.

– Но самый сок – это финал, где старик окончательно проявляет свою гнилую, эгоистичную натуру. Он все-таки убивает эту несчастную рыбину. Зачем? Чтобы сожрать? Нет, она слишком велика для одного старого желудка. Им движет чистое тщеславие. Он привязывает марлина к борту и тащит обратно. И тут приплывают акулы. Что делает наш «титан духа»? Он начинает вяло отмахиваться от них веслом с примотанным ножом. Он прекрасно понимает, что акулы сожрут все. В тексте Хемингуэя прямо сказано: он знал, что шансов нет. Нормальный, прагматичный рыбак обрубил бы снасти и ушел, спасая свою жизнь, а не устраивал бой задохлое мясо. Но Сантьяго не таков. Ему нужно притащить в порт труп своей гордыни. Ему плевать на рыбу, которую он якобы «любит». Ему плевать, что он бессмысленно уничтожил прекрасное создание природы длиной 5,5 метра ради того,

чтобы местные рыбаки в кабаке почесали языками.

Пушкина подалась вперед. Ее крошечная фигура казалась монолитом.

– Он возвращается в гавань с обглоданным скелетом. И что делает этот святой человек? Ложится спать и видит львов. Ему отлично! Он чист перед собой! Рыба сгнила, акулы набили желудки падалью, мальчик Манолин рыдает от жалости, а старый нарцисс празднует победу. Он доказал, что может страдать громче всех. Вот вам и вся изнанка «мужества» по-хемингуэевски: абсолютная, рафинированная безответственность, завернутая в красивую обертку из морской соли и пота. Старик уничтожил чудо природы просто ради того, чтобы потешить свое увядающее эго перед смертью.

В классе стояла гробовая тишина. Даже Ксюша Новоплядова забыла про свой блеск для губ, глядя на учительницу с первобытным ужасом и внезапным, смутным прозрением в глазах.

Александра Сергеевна плавно опустилась обратно на свой высокий стул. Лицо ее снова приняло выражение отрешенной, безупречной интеллигентности.

– Итак, запишите домашнее задание, – вновь запел ее бархатный филологический голос. – Эссе на тему «Символика христианского всепрощения в образе Сантьяго». Напишите мне то, что от вас потребуют в министерских тестах. А то, что я вам сейчас рассказала, забудьте. У вас все равно не

хватит мозгов аргументировать это по тексту. Свободны.

«Старик Хоттабыч», Л. Лагин

Тяжелые, сизые июньские тучи висели над бескрайним полем пригородного зверосовхоза, где в воздухе стоял густой, почти осязаемый аромат навоза и прелой соломы. Ветер лениво шевелил верхушки лопухов, растущих вдоль глухого бетонного забора.

Александра Сергеевна Пушкина стояла на растрескавшейся асфальтовой дорожке возле вольера с нутриями. Крошечная женщина, чья седая голова едва достигала пояса случайного прохожего, казалась монументальным изваянием, затерянным в просторах русской провинции.

Ее миниатюрное тело весом в двадцать пять килограммов было облачено в безукоризненно отутюженный английский костюм брусничного цвета, а крошечные туфли двадцать четвертого размера сохраняли зеркальный блеск вопреки окружающей хтони.

Рядом с ней, неловко переминаясь с ноги на ногу, стоял завуч по воспитательной работе, грузный мужчина в пропоровшей сорочке, привезший Народного учителя РФ на обязательную «экскурсию по местам трудовой славы края».

– Посмотрите на этих грызунов, коллега, – тихо, но удивительно глубоким, грудным контральто произнесла Александра Сергеевна, устремив взор куда-то поверх забора, в предгрозовое небо. – В их суетливом копошении есть нечто

пугающе человеческое. Впрочем, бог с ними. Моя душа, признаться, все еще пребывает в плену предрассветного тумана, сошедшего со страниц великой сказки Лазаря Лагина. Какая незаслуженно забытая, чистая, хрустальная элегия о столкновении двух миров! Помните ли вы этот трепет, этот вечный, сакральный мотив обретения чуда? О, этот старик Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб... Это ведь не просто джинн. Это персонификация уходящего, пряного, ветхозаветного Востока, томящегося в глиняном кувшине народной памяти. И этот мальчик, Волька Костыльков – чистый, незамутненный отрок, агнец новой эры, несущий свет просвещения. Какая нежная, почти библейская жертвенность звучит в их диалогах, какая тонкая вязь смыслов о верности, преданности и великом преображении ветхой души под воздействием идеалов коллективизма...

Александра Сергеевна замолчала, прикрыв глаза. Завуч благоговейно замер, боясь спугнуть величие филологической мысли, парящей над навозными кучами зверосовхоза.

В этот момент одна из нутрий с оглушительным чавканьем вырвала у соседки кусок гнилой свеклы и яростно заверещала.

Пушкина резко открыла глаза. В их черной глубине вспыхнул ледяной, хирургический блеск. Она поправила воротничок, снизу вверх посмотрела на завуча и сплюнула на асфальт.

– Хотя если снять эти марксистские розовые очки и убрать

из анамнеза пионерские сопли, то «Старик Хоттабыч» – это эталонный клинический триллер о созависимости, бытовом садизме и тотальном моральном разложении, – отчеканила она, и ее голос приобрел свистящие, зловещие интонации. – Лагин написал страшную вещь про то, как малолетний латентный тиран ломает через колено ментального инвалида с тяжелым посттравматическим синдромом.

Завуч икнул и попятился. Александра Сергеевна, заложив кукольные руки за спину, мерным шагом пошла вдоль вольтера. Физически она едва доставала ему до нижней пуговицы жилета, но ее колоссальное филологическое эго сейчас занимало все пространство от земли до грозовых туч.

– Давайте препарируем факты, милейший, – цинично усмехнулась она. – Хоттабыч – глубокий старик, прошедший три с половиной тысячи лет в одиночной камере с сенсорной депривацией. У него психика разрушена в хлам. Он выходит на свободу и отчаянно ищет фигуру хозяина – классический стокгольмский синдром. И кого он находит? Тринадцатилетнего пионера Вольку. Нормальный, здоровый ребенок пожалел бы дедушку, отвел бы к геронтологу или хотя бы купил ему штаны. Что делает наш «советский праведник»? Начинает дрессировать несчастного старика, как забитую болонку, попутно самоутверждаясь за его счет.

Она остановилась и ткнула крошечным указательным пальцем в сторону завуча.

– Вспомните сцену с экзаменом по географии. Хоттабыч,

желая угодить своему новому абыюзеру, подсказывает ему сведения из учебника древнего Востока. Волька, вместо того чтобы честно сказать: «Дед, ты бредишь, у тебя деменция», начинает послушно нести ахинею про диск Земли и индийских плешивых людей. Почему? Да потому что Волька – трусливое, конформистское ничтожество. Он до смерти боится получить двойку и испортить анкету. А когда схема вскрывается, он не защищает старика, а впадает в ярость, потому что его эгоистичный комфорт нарушен.

Пушкина презрительно фыркнула, ее миниатюрное лицо исказила гримаса глубокого разочарования в человечестве.

– А этот цирк с цирком? Хоттабыч покупает все билеты, чтобы побыть с мальчиком наедине. Это же крик о помощи одинокого существа! А Волька устраивает ему публичную порку, стыдит перед толпой, заставляя вернуть билеты. Волька – это юный тоталитарный надсмотрщик. Ему не нужно чудо, ему нужен функциональный раб, который будет таскать ему бананы и строить дворцы, но так, чтобы пацаны во дворе не посчитали его «буржум». Какая низость – пользоваться безграничной магической силой древнего божества и при этом постоянно читать ему лекции об обществе чистых тарелок и пользе металлолома!

Она подошла к забору, посмотрела на копошащихся в грязи нутрий и тихо добавила:

– Финал этой драмы абсолютно страшен. Волька и его дружок Женя полностью уничтожают идентичность Хоттабыча.

Они отнимают у него последнее мужское и культурное достоинство, превращая могущественного джинна в... радиста. Старик отказывается от использования магии, крутит ручку приемника и ждет подачек от государства. Они кастрировали бога, милейший. Сделали из демиурга обычного советского работника на зарплате. Вот вам и сказочка для третьего класса. Коллективный эгоизм посредственностей сожрал индивидуальное чудо и даже не поперхнулся.

Александра Сергеевна замолчала, вытащила из кармана миниатюрный батистовый платок, вытерла пыль с носка туфли и посмотрела на совершенно бледного завуча.

«Сто лет одиночества», Г. Г. Маркес

Майские сумерки опускались на провинциальное кладбище N-ска, укутывая старые надгробия густой, сиреневой пеной цветущей акации. Воздух, неподвижный и чуткий, казался разлитым потиром, в котором растворились запахи сырой земли, тающего воска и вечности.

По аллее, едва различимая в густых тенях, медленно двигалась Александра Сергеевна Пушкина. Сорок пять лет у доски согнули бы любого, но не ее: ее крошечная, девяносто-сантиметровая фигурка, затянутая в строгое черное пальто, сохраняла монументальную выправку. Двадцать пять килограммов чистой, дистиллированной интеллигентности. Она походила на забытую фарфоровую статуэтку, которую неведомый исполин обронил среди гранитных плит.

Рядом, стараясь не наступать на подол ее пальто, семенил молодой учитель истории Виктор Ибашинский, безропотно несший ее ридикюль. Александра Сергеевна остановилась у могилы местного мецената, увенчанной мраморным ангелом, поправила очки на крошечном носу и устремила взор в блекнущее небо.

– Посмотрите на этот закат, Витенька, – произнесла она голосом глубоким, бархатным, совершенно не вязавшимся с

ее детским ростом. — Он напоминает мне о великом увядании Макондо. Ах, «Сто лет одиночества»... Какая симфония фатализма! Какое трансцендентное полотно, где время сворачивается в Уроборос, а человеческая душа обнажается перед лицом безжалостного рока. Маркес — этот титан магического реализма — соткал миф о Буэндия из тончайшей пряжи поэзии и скорби. Помните ли вы, голубчик, этот щемящий, хрустальный образ Ремедиос Прекрасной, возносящейся на простынях в лазурную высь? Это же чистый, незамутненный триумф духа над брэнной материей! Какое целомудрие, какая святая отрешенность от земной суеты...

В этот момент тишину погоста нарушил вульгарный звук: на соседней аллее пьяный гробокопатель громко, с оттяжкой высморкался в кулак и смачно выругался на сорвавшуюся лопату.

Александра Сергеевна замерла. Ее ноздри дрогнули. Она медленно повернула голову, и в ее огромных глазах старого филолога, еще секунду назад отражавших небесную лазурь, вспыхнул зловещий блеск прожигающего насквозь цинизма. Она резко вырвала ридикюль из рук обомлевшего Ибашинского.

— Какое, к черту, целомудрие, Витенька? — отчеканила она, и голос ее внезапно обрел интонации лагерного вертухая. — Девка была клинической идиоткой с задержкой развития. Будем называть вещи своими именами: олигофрения в стадии дебилности. Она жрала руками, ходила голышом по

дому и не могла связать двух слов. А семейка святош, вместо того чтобы сдать несчастную в дурку, придумала сказочку про вознесение на простынях, лишь бы не признавать очевидного: девка просто сбежала с первым встречным контрабандистом, о чем весь город и так прекрасно знал!

Ибашинский попятился, наткнувшись спиной на оградку. Александра Сергеевна, чей ментальный масштаб в эту секунду заставил бы сжаться самого Наполеона, наступала на него, яростно жестикулируя крошечными ручками.

– Весь этот ваш Маркес, – продолжала она, – это не симфония, это детальный анамнез запущенного психиатрического стационара, где санитары спились, а главврача съели муравьи. Сто лет одиночества? Ха! Сто лет повального эгоизма, бытовой импотенции и агрессивного инцеста! Вы посмотрите на родоначальника, Хосе Аркадио. Великий мечтатель? Обыкновенный шизоид с маниакальным синдромом. Бросил нормальную жизнь, притащил бабу в болото из-за того, что пришил соседа, и спустил фамильное золото на цыганские фокусы, пытаясь отыскать философский камень. А Урсула? Сто лет тащить на горбу эту отару дегенератов, выпекая леденцовых петушков. Зачем? Чтобы они плодились дальше? Да у нее материнский инстинкт трансформировался в созависимость планетарного масштаба.

Она остановилась, тяжело дыша, и оперлась на свой детский зонтик.

– А полковник Аурелиано? В учебниках пишут: трагиче-

ская фигура, борец за свободу. Чушь собачья! Чувак поднял тридцать два восстания и все просрал. Почему? Да потому что ему было абсолютно плевать и на либералов, и на консерваторов. Он воевал, просто чтобы не сидеть дома с матерью и не сойти с ума от скуки. У него внутри была ледяная пустыня. Родил семнадцать сыновей от семнадцати разных баб и, чтобы не забивать голову, назвал их всех Аурелиано! А на досуге ковал золотых рыбок, переплавлял их обратно и снова ковал. Это же чистый, незамутненный аутизм в терминальной стадии! Человек был неспособен на базовую эмпатию. Единственное, что его волновало – это чтобы вокруг его стула провели мелом круг, за который никто не смеет заступать. Социопат с маузером, вот он кто.

Александра Сергеевна брезгливо поморщилась, словно ощутив во рту вкус столетней макондовской пыли.

– И ведь каждый, каждый в этой семейке думал только о своей шкуре! Амаранта полжизни шила себе саван, жрала себя поедом из-за зависти и сломала жизнь паре приличных парней просто из вредности. Ребека жрала землю и обсасывала палец до седых волос, запершись в доме с призраками и собственными скелетами в шкафу. Они не одиноки из-за злого рока, Витенька. Они одиноки, потому что они – куча самовлюбленного шлака, неспособного поднять жопу и спросить у ближнего: «Как твои дела?». Они зациклены на своих гениталиях и своих обидах. И этот их финальный младенец со свиным хвостом – это не мистическое проклятие.

Это закономерный, логичный итог столетнего траха между кузенами, тетями и племянниками. Генетический мусор должен был самоликвидироваться. Муравьи, сожравшие дом, — единственные адекватные санитары в этой латиноамериканской коммуналке.

Она замолчала. Поправила съехавшие очки. На ее бледных щеках горел румянец академического торжества. Великая книга была препарирована, лишена романтического флера и выпотрошена с хирургической точностью.

— Ну что вы застыли, как соляной столп, голубчик? — уже спокойнее, с тонкой аристократической усмешкой спросила Александра Сергеевна, глядя на побледневшего Ибашинского снизу вверх. — Идемте. Сырость усиливается, а у меня еще тетради девятых классов не проверены. Опять, небось, написали, что Катерина — луч света в темном царстве. Придется завтра объяснить этим малолетним дебилам, что луч света не прыгает головой в Волгу из-за чужого мужика.

«Судьба человека», М. Шолохов

За окном кабинета русского языка и литературы наливался свинцовой тяжестью унылый провинциальный полдень. Майский зной плавил асфальт школьного двора, на котором десятиклассники вяло пинали пустую банку из-под энергетика. В классе же царил полумрак. Воздух, казалось, застыл, напившись пылью старых хрестоматий и густым, благородным ароматом лавандового парфюма.

За учительским столом, на специально сконструированном высоком стуле с двойной подушкой, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений признавали даже в областном министерстве, была удручающе мала ростом – всего девяносто сантиметров.

Ее крошечные ножки в лакированных туфлях двадцать четвертого размера не доставали до пола, сиротливо покачиваясь в воздухе. Но стоило ей заговорить, как этот физический недостаток растворялся в пространстве. Ее колоссальный, почти осязаемый ментальный масштаб мгновенно заполнял класс, заставляя великовозрастных оболтусов инстинктивно втягивать головы в плечи. Она не смотрела на них снизу вверх. Она всегда смотрела на мир с вершины своего абсолютного интеллектуального превосходства.

Перед ней на коленях, умоляюще сложив руки, стоял се-

миклассник Остап Искрементчук – местный хулиган, гроза параллели и обладатель девственно чистого разума, которому грозила заслуженная итоговая двойка.

– Александра Сергеевна, ну умоляю, – канючил Искрементчук, преданно заглядывая в глаза учительнице. – Я прочитал. Честно. Про Соколова этого. Шолохов, рассказ «Судьба человека». Там же патриотизм! Там же русский дух! Он фашистам не сдался! Ну поставьте троечку, а?

Александра Сергеевна закрыла томик Шолохова. Ее тонкие, аристократические пальцы нежно погладили потертый переплет, словно это была величайшая святыня человечества.

– О, Искрементчук, – выдохнула она, и в ее бархатном голосе зазвучали струны глубокого трепета перед искусством. – Ты прикоснулся к монументальному полотну великой трагедии. Михаил Александрович Шолохов соткал этот текст из слез, пепла и негибимой воли. Это же грандиозная притча о титане духа, прошедшем сквозь горнило экзистенциального ужаса. Андрей Соколов – это не просто солдат, это ветхозаветный Иов, брошенный в костер двадцатого века. Посмотри, какая звенящая, хрустальная тоска разлита в сцене, где он возвращается к родному пепелищу. Вместо дома – лишь темная воронка, поросшая бурьяном, бездонная яма, поглотившая всю его прошлую жизнь. А он стоит на краю этого небытия, оглушенный горем, но титанически безмолвный. Какая метафизика страдания! Какое очищающее,

святое целомудрие скорби, перед которым мы, ничтожные смертные, обязаны пасть ниц и благоговейно молчать...

В этот момент за окном раздался оглушительный треск. Десятиклассник на дворе, пытаясь пнуть банку, с грохотом повалил ржавую урну, и из нее веером полетели окурки и обертки от чипсов. Остап Искрементчук вздрогнул.

Лицо Александры Сергеевны мгновенно окаменело. Взгляд огромных глаз, только что лучившийся филологическим экстазом, стал холодным и режущим, как скальпель патологоанатома. Патриотический пафос испарился из кабинета, уступив место ледяному, душному реализму спальных районов.

Она медленно повернула голову к Остапу и заговорила совершенно другим тоном – сухим, циничным, бьющим наотмашь:

– Впрочем, Искрементчук, о каком «титане духа» я тебе толкую? Наш Минпрос засунул этот рассказ в седьмой класс, чтобы лепить из вас удобное пушечное мясо. Но если включить остатки коры головного мозга, перед нами предстанет пугающее клиническое исследование клинического же идиотизма. Твой Андрей Соколов – это не трагический герой. Это эталонный, хрестоматийный терпила с напрочь атрофированным инстинктом самосохранения и потрясающим эгоцентризмом.

Остап округлил глаза, встал с коленей и попятился. Александра Сергеевна легко спрыгнула со своего огромного сту-

ла. Ее крошечная фигурка, едва достававшая Искрементчуку до пояса, медленно двинулась на него. Ощущение было такое, будто на парня прет груженный локомотив.

– Давай препарируем этот шедевр без соплей, – жестко чеканила Пушкина, шагая по классу. – Начало войны. Соколову дают новенький грузовик. И его отправляют со снарядами к гибнущей батарее. Что делает наш гений логистики? Вместо того чтобы переждать авианалет или оценить обстановку, он прет напролом, прямо под бомбы. Благородно? На первый взгляд – да. А на деле – чистой воды суицидальный кретинизм. Вокруг все перепыхивают пикировщики, а он надеется на русский «авось». В итоге – близкий разрыв, машина в кювете, сам в контузии, а дефицитные снаряды целенькими достаются врагу. Великолепная помощь фронту, просто браво! Батарея погибла, снаряды у немцев, Соколов в плену. Триумф тактической мысли!

Она остановилась у доски, стукнув по ней крошечным кулачком.

– Дальше – больше. Плен. Лагерь. Знаменитая сцена у коменданта Мюллера, от которой все методички рыдают от умиления. Соколова вызывают на расстрел. Мюллер наливает ему водки. И тут наш узник включает режим максимального понта. «Я после первого стакана не закусываю». «И после второго не закусываю». Искрементчук, ты понимаешь всю степень этого дешевого алкогольного аутизма перед лицом смерти? У человека крайняя степень истощения, он на

баланде едва ноги таскает. Его пришли убивать. Но вместо того, чтобы включить хитрость, сожрать сало, выжить и передать информацию подполью, он устраивает шоу «Кто перепьет немца». И ради чего? Ради того, чтобы фашистский садист похлопал его по плечу и сказал: «О, русиш зольдат, гуд, уважаю за гордость». Это не гордость, Искрементчук. Это латентное желание сдохнуть красиво, потому что думать и бороться головой этот персонаж просто не умеет. Ему проще встать бухим у стенки с гордым лицом, чем включить мозги.

Александра Сергеевна горько усмехнулась, заложив руки за спину. Ее маленькая тень на стене казалась огромной, гротескной фигурой судьи.

– Но самый циничный финал Шолохов припас на десерт. Соколов выходит из войны абсолютно пустым местом. Семья погибла – и это трагедия, спору нет. Но как наш «герой» справляется с посттравматическим стрессовым расстройством? Он находит на дорогах сироту Ванюшку. И что он делает? Он врет пацану в глаза: «Я твой отец!» Хрестоматии кричат: «Какое милосердие! Он спас ребенка!» А я скажу тебе, Искрементчук, что это чистейший, рафинированный эгоизм сломленного алкоголика. Ему не для кого жить, и вместо того, чтобы пройти реабилитацию и лечить разбитую психику, он крадет личность чужого погибшего отца, чтобы заткнуть экзистенциальную дыру в своей собственной душе. Он использует несчастного ребенка как ментальный

костыль. И в финале они тащатся вдвоем в чужой район, потому что Соколов, потеряв работу шофера из-за очередного срыва, бежит от реальности. Он таскает за собой пацана, которому вместо нормального будущего светит скитаться по чужим углам вместе с ментально искалеченным «отцом», у которого из имущества – только чемодан и фляжка.

Пушкина подошла к своему стулу, ловко, одним привычным движением взобралась на него и посмотрела на ошарашенного ученика.

– Шолохов – гений, Остапушка. Он показал нам страшную правду, которую общество завернуло в обертку героизма. Автор безжалостно демонстрирует, как система ломает человека, оставляя от него только оболочку, способную лишь пить водку без закуски и плодить новые поколения несчастных людей. Ну что, Искрементчук? Напишешь новое сочинение? Или все-таки оставим законную двойку за незнание первоисточника?

Остап сглотнул слюну. Его мир, сотворенный из простых школьных истин, только что был безжалостно раздавлен девяностосантиметровой женщиной с филологическим образованием.

– Александра Сергеевна... – прошептал он. – Пожалуйста... Давайте я лучше «Муму» пересдам.

– Иди, Искрементчук, – устало махнула крошечной рукой Пушкина, открывая на ноутбуке классный журнал. – Про Герасима и его деструктивные отношения с абьюзивной

барыней мы поговорим завтра. И не дай бог тебе сказать, что он просто любил собачку.

«Таинственный остров», Жюль Верн

Октябрьский туман выползал из поймы степной речки, укутывая серым саваном бесконечные ряды гаражно-строительного кооператива. Железные коробки, тронутые ржавчиной, тянулись к горизонту, словно склепы безвестных титанов провинциального быта. Воздух, густой и влажный, пах сырой землей, палой листвой и мазутом.

Александра Сергеевна Пушкина сидела на перевернутом деревянном ящике из-под молдавских яблок возле открытых ворот бокса, где сосед по подъезду, отставной майор Толик Куеславин, молча и сосредоточенно перебирал карбюратор старенькой «Нивы».

Крошечные ножки Пушкиной в ортопедических ботиночках двадцать четвертого размера, едва достигавшие земли, мирно покачивались в такт невидимому маятнику вселенной. При росте в девяносто сантиметров и весе запасного колеса от «Нивы», Александра Сергеевна, укутанная в безупречное драповое пальто с каракулевым воротником, казалась оброненной кем-то фарфоровой куклой.

Однако хищный разлет седых бровей и тяжелый, пронзительный взгляд филологической мудрости взгляд выдавали в ней исполина. Носительница звания «Народный учитель»

держала в крошечных пальцах дымящуюся папиросу – редкое излишество, которое она позволяла своему микроскопическому телу.

– Послушайте, Анатолий, этот звенящий покой, – произнесла она грудным, удивительно глубоким контральто, разнесшимся над ржавыми крышами. – Как дивно природа укрощает человеческую суету. Провидение словно возвращает нас к истокам творения. Знаете, в такие мгновения свинцового предзимнего оцепенения я всегда вспоминаю великий гимн человеческому гению – «Таинственный остров» Жюль Верна. О, этот благословенный, чистый монумент девятнадцатого столетия! Какая кристальная, возвышенная песнь созиданию и науке химии. Пятеро отважных мужей, катастрофически вырванные из лона цивилизации, оказываются на необитаемой земле. Но они не опускаются до звериного состояния. Напротив, ведомые факелом науки и христианской добродетели, они преображают дикую глушь. Сайрес Смит – этот титан мысли, этот Прометей в безупречном сюртуке! Какое величие духа, какая святая вера в триумф разума над хаосом...

Майор Куеславин с грохотом уронил гаечный ключ на бетонный пол, смачно и витиевато выматерившись на всю Ивановскую.

Александра Сергеевна затянулась, сплюнула крупинку табака на ботинок и сухо усмехнулась.

– Вот и я говорю, Толя. Задзюбили они этот остров в хвост

и в гриву. Если содрать с этой книжки романтическую позолоту для пубертатных дебилов, перед нами предстанет чистейший, рафинированный манифест колониального психоза и клинической шизофрении.

Она затушила папиросу о край ящика и уставилась на майора мертвой хваткой своих антрацитовых глаз. Ментальное поле крошечной женщины мгновенно заполнило пространство гаража, заставив здорового мужика невольно втянуть голову в плечи.

– Давай посмотрим правде в глаза, Толечка. Кто такой Сайрес Смит? Нам его продают как гения-инженера. На деле это классический душный технократ с комплексом бога и манией тотального контроля. Пятеро мужиков попадают в девственную, райскую экосистему. Там есть все: дичь, чистая вода, баланс, тишина. Что делает этот стайный примат Смит в первую же неделю? Правильно, он строит кирпичный завод. Ему, бляха-муха, скучно просто жить. Ему нужно закатать природу в бетон и заставить всех маршировать. Он не адаптируется к острову, он его насилует.

Александра Сергеевна вытащила из кармана вторую папиросу, ловко щелкнула копеечной зажигалкой и продолжила препарирование:

– Жюль Верн пытается выдать их за святых, но посмотри на мотивы персонажей сквозь призму банального эгоизма. Возьмем Пенкрофа. Это же идеальный портрет тупорылого обывателя, пролетария со свиным рылом. Его предел

мечтаний – вырастить табак и пожрать. Когда они находят несчастного Айртона, который несколько лет искупал грехи в дикости и одиночестве, обретя хоть какое-то подобие буддийского слияния с природой, что делают эти «гуманисты»? Они насильно тащат его в свое кастрированное мини-общество, бреют, одевают в колючую рогожу и заставляют учить таблицу умножения. Они уничтожают его индивидуальность, потому что стае Смита нужен еще один послушный винтик, чтобы копать траншеи.

Она сделала паузу, выпуская струю сизого дыма, которая идеально подчеркнула ее крошечный профиль на фоне громадных проемов гаражного зева.

– А этот журналист Гедеон Спилет? Это же апофеоз человеческого тщеславия. Вокруг океан, вечность, божественный замысел, а этот мудак сидит в блокнотике и записывает, сколько раз за день Сайрес Смит сходил по-большому и какую температуру имел суп из капибары. Ему плевать на реальность, ему важен собственный нарратив. Самое смешное – это их отношение к капитану Немо. Нам показывают уважение, но на самом деле это чистой воды паразитизм. Старик поддыхает в своей железной коробке, разочарованный во всем человечестве. Он их спасает, подкидывает им ящики с инструментами, лечит парня. И как они его благодарят? Приходят к смертному одру и начинают канючить: «Ой, великий капитан, благословите наш колхоз». Они выжимают из умирающего мизантропа последние ресурсы, прихваты-

вают шкатулку со старыми пиратскими сокровищами и, сука, даже не похоронили на земле, а с облегчением выполнили волю старика – задраили люки и утопили «Наутилус» к чертовой матери, превратив его в братскую могилу. Самим-то возиться лень. Жлобы. Обычные викторианские жлобы.

Майор Куеславин, забыв про карбюратор, замороженно слушал, приоткрыв рот.

– Верн написал страшную вещь, Толя, – Александра Сергеевна аккуратно стряхнула пепел. – Он показал, что человек – это вирус. Остров Линкольна терпел их несколько лет, пока эти праведники взрывали скалы нитроглицерином, строили гидравлические лифты и нарушали тектонический баланс ради своего комфорта. И в итоге природа просто блеванула вулканом, уничтожив весь этот индустриальный бред. И поделом. Потому что нельзя приходить в чужой монастырь со своим уставом и токарным станком. «Хомно сапиенс» не умеют созерцать, они умеют только жрать и перерабатывать.

Пушкина легко, одним неуловимым движением соскочила с ящика. Оказавшись на земле, она едва доставала майору Куеславину до пояса, но ее фигура излучала такую сокрушительную, ледяную уверенность, что Толик инстинктивно сделал шаг назад.

– Ладно, Анатолий, заболталась я с вами. Пора идти, скоро вторая четверть, а у меня пятый «А» до сих пор искренне верит, будто в русской и мировой литературе существует хоть один праведник. Завтра устрою им сеанс жесткой шоко-

вой терапии. Придется объяснить этим эмбрионам, что авторы пишут не житие святых, а историю болезни нашего вида. Всего доброго.

Она развернулась и неторопливой, царственной походкой пошла по раскисшей колее между гаражами, маленькая, гордая и абсолютно пугающая в своем интеллектуальном превосходстве.

«Тарас Бульба», Н. Гоголь

Майское солнце вползало в класс сквозь немытые стекла, дробясь в пылевой взвеси и ложась золотыми эполетами на плечи тридцати оболтусов. Седьмой «Г», этот синклит юных варваров и прирожденных созерцателей потолка, пребывал в блаженной полудреме.

Прямо на учительском столе, аккуратно между стопкой тетрадей и ноутбуком, стояла Александра Сергеевна Пушкина. Ровно девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного педагогического суверенитета. Ее крошечные туфли двадцать четвертого размера безупречно лакированными носками смотрели на притихшую аудиторию. Народный учитель РФ, чей ментальный масштаб возвышался над классом Эверестом, поправила строгие очки и обвела замерший партер взглядом, способным заморозить кипяток.

– Господа, – голос Александры Сергеевны, глубокое, бархатное контральто, зазвучал с той невероятной, тягучей музыкальностью, какая свойственна лишь истинным хранителям словесного храма. – Сегодня мы открываем титанический, благоухающий девственной степной свежестью эпос Николая Васильевича Гоголя. Какая великая, исступленная поэзия духа и русского товарищества! Какая неизбывная, библейская трагедия отцов и детей разлита по этим страницам! Вслушайтесь в этот надрывный, святой плач над те-

лом прекрасного Андрия... Какая метафизическая глубина в роковом выборе между долгом и ослепляющим чувством, перед которым пасуют законы земные! Это апофеоз трагического гуманизма, где каждое слово дышит биением бессмертной славянской души...

В этот момент на задней парте двоечник Олег Новознокучин, с сочным хлопком надув пузырь из копеечной жвачки, дебилно хихикнул и смачно втянул остатки резины в рот.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка сфер оборвалась. Маленькая женщина медленно повернула голову. В ее глазах зажегся холодный огонь патологоанатома, которому принесли на вскрытие особенно глупую курицу.

– Новознокучин, – сухо, как хрустнувшая ветка, произнесла она, стремительно пикируя из гоголевских эмпириеев в ледяной душ абсолютного цинизма. – Выплюнь это дерьмо в урну и завали хавальник. Решил, что если я ростом с табуретку, то не разгляжу твою дегенеративную мимику? Ошибаешься. С моей колокольни твои железы видны как на ладони.

Она прошлась по краю стола, заложив крошечные руки за спину. Класс замер, предвкушая мясо.

– Итак, седьмой «Г», забудьте весь тот благостный бред, который написан в методичках для слабоумных, – Александра Сергеевна жестко усмехнулась. – О каком «гуманизме» и «патриотизме» вам там поют? Давайте препарируем этот шедевр без соплей. «Тарас Бульба» – это великолепно

написанный, гениальный клинический анамнез банды великовозрастных, инфантильных социопатов, которые не умели и не хотели делать решительно ничего, кроме как бухать, грабить и резать людей.

Она остановилась, глядя на отличницу Сирун Доширакян, у которой от ужаса округлились глаза.

– Да-да, Доширакян, открой текст. Гоголь же прямым текстом пишет: Запорожская Сечь – это что? Это не регулярная армия, это гигантский вытрезвитель и притон для бездельников. Чем они там занимаются в мирное время? Они спят на улице и жрут. Продуктивное хозяйство? Ноль. Налоговая система? Отсутствует. И вот этот старый алкоголик Тарас забирает сыновей из академии. Зачем? Чтобы они дома матери помогали? Занялись делом? Нет! Ему скучно. У деда зачесались старые раны, у него жесточайший кризис среднего возраста и запущенное посттравматическое стрессовое расстройство. Ему срочно нужно кого-то порешить, чтобы почувствовать себя живым.

Александра Сергеевна чеканным шагом вернулась по крышке стола к ноутбуку, ее маленькая тень грозно металась по доске.

– Вспомните, как начинается война. Кошевой говорит Тарасу: «Мы не можем войти в Польшу, мы клятву давали, это грех». И что делает наш «национальный герой»? Он устраивает верхушечный переворот! Подговаривает толпу пьяных люмпенов, они скидывают адекватного лидера, выбирают

своего карманного кошевого и идут грабить соседей просто потому, что у них кончилась водка и бабло. Гоголь с хирургической точностью описывает, как они сжигают костелы, монастыри и беззащитные деревни. Это не освободительная война, господа. Это классический милитаристский картель семнадцатого века.

Она сделала паузу, наслаждаясь гробовой тишиной. Даже Олег Новознокучин перестал жевать.

– А теперь перейдем к нашей «великой семейной драме». Смерть Андрия. В учебниках вам напишут: «Отец покарал предателя Родины». Чушь собачья. Включаем логику, которой у Тараса не было отродясь. Младший сын влюбился в польскую панночку. Да, гормоны ударили в голову, бывает. Он ушел к ней в осажденный город. И что делает Бульба? Он испытывает не патриотическую скорбь, а ущемленное капризное эго. «Я тебя породил, я тебя и убью!» – кричит этот старый нарцисс. Это же чистая бытовуха, замаскированная под высокий долг! Он убивает собственного сына не за измену идеалам, которых у самого Тараса нет, кроме желания махать саблями. Он убивает его за непослушание. За то, что пацан посмел выйти из-под его деспотичного контроля и выбрать бабу, а не пьяные посиделки с казаками. Андрий перед смертью даже не за Родину или отца вспоминает, он шепчет имя панночки. Потому что он – единственный живой человек в этой банде зомби, способный на рефлекссию и личное чувство, пусть и глупое.

Александра Сергеевна поправила манжеты блузки. Ее крошечная фигура в этот момент казалась монументом безжалостной истины.

– Ну а финал? Остап, старший сын, копия папаши, только чуть менее пропитой. Попал в плен. Тарас едет смотреть на его казнь. И когда его топорная попытка подкупа провалилась, вместо того, чтобы уйти и сберечь жизни оставшихся людей, он просто стоит в толпе и орет: «Слышу!», когда Остап зовет его с эшафота. Зачем? Чтобы подставить себя и слить остатки своего отряда в бессмысленной вендетте? Тарас сжигает польские города, мстя за сына, которого сам же и подставил под эту бойню своим воспитанием. И гибнет, привязанный к дереву, абсолютно счастливый от того, что устроил вокруг себя кровавую баню мирового масштаба.

Она легко, по-кошачьи, спрыгнула со стола на стул, а со стула – на пол. Оказавшись на уровне животов сидящих учеников, она ни на секунду не потеряла в авторитете.

– Гоголь – гений, седьмой «Г». Он написал страшную антиутопию о том, как абсолютная пустота внутри человека, отсутствие созидательного начала и культ насилия могут быть упакованы в красивую обертку «боевого товарищества». Запишите домашнее задание: сравнительный анализ психопатологии Тараса Бульбы и современных криминальных авторитетов. И не дай бог кто-то спишет из Интернета про «патриотический пафос». Я лично превращу вашу жизнь в филиал запорожского ада. Вопросы?

Класс молчал. Вопросов не было. Александра Сергеевна удовлетворенно кивнула и пошла к двери, цокая крошечными каблучками, оставляя за собой шлейф дорогого парфюма и выжженную дотла территорию школьных иллюзий.

Тарас Чупрынка

Вечер опускался на город N серой шубой из мокрого снега и дыма котельной. В кабинете русского языка и литературы, над которым одиноко горело единственное окно, царила священная тишина. Александра Сергеевна Пушкина – Народный учитель Российской Федерации, чьи девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов веса компенсировались таким тектоническим филологическим авторитетом, что даже самые отпетые хулиганы зажимали рты, едва ее лакированная туфелька 24-го размера ступала на порог, – сидела за монументальным дубовым столом.

Перед ней стояла глиняная кружка. В ней, маслянисто поблескивая, покоилась темная, пахнущая черносливом и степной одурью домашняя наливка – подарок от бабушки одного из учеников, привезенный откуда-то из-под Стрыя. Александра Сергеевна, чей колоссальный ум изнемогал от проверки тридцати сочинений по «Тарасу Бульбе», вздохнула, поправила безупречное кружевное жабо и сделала глубокий глоток. Она вечно забывала, что спирты определенной плотности вступают с ее изысканным нейронным контуром в странную реакцию, ломающую хронотоп.

Мир качнулся. Черная доска и портрет Достоевского растворились.

Она сидела на грубо отесанной дубовой скамье в полутем-

ной, пропахшей немецким табаком, керосином и сушеными грибами хате где-то на окраине Львова. За окном выл карпатский ветер 1940-х годов. Напротив нее, за столом, заваленным листовками и деталями от немецкого пулемета, сидел крепкий, сутулый мужчина в полувоенном френче. Лицо его выражало ту степень фанатичной серьезности, которая обычно граничит с клиническим диагнозом. Это был Роман Шухевич, он же поэт и публицист Тарас Чупрынка.

Александра Сергеевна, едва доставая макушкой до края стола, ничуть не смутилась. Метафизический масштаб этой крошечной женщины в этот миг мог бы раздавить колокольню Ивана Великого. Она посмотрела на Чупрынку, и ее лицо озарилось глубоким, благоговейным трепетом истинного филолога.

– О, Роман Иосифович, – заговорила она голосом тягучим, бархатным, в котором слышался шелест вековых дубрав и пафос лучших страниц Костомарова. – Как дивно и страшно поэтическое слово, рожденное в горниле национальной скорби! Какая невыразимая, хтоническая нежность звучит в ваших ранних стихах, где каждый слог дышит тоской по утраченному раю, по княжьей славе Галича, по чистым водам Днестра, несущим свои лазурные волны мимо крутых скал! Вы ведь искали абсолютную красоту, вы искали ту сакральную искру, что зажжет огнем свободы сердца угнетенных, вы сопрягали метафору с вечностью, вознося карпатский мелос до уровня мировой трагедии!

Шухевич-Чупрынка самодовольно расправил усы, явно польщенный столь изысканным визитом маломерной, но явно высокообразованной дамы.

В этот момент со двора донесся визг свиньи, которую кто-то грубо пнул сапогом.

Александра Сергеевна резко замолчала. Взгляд ее огромных глаз мгновенно остекленел, благоговение испарилось, уступив место ледяному, хирургическому цинизму. Она безразлично отодвинула от себя грязный стакан.

– Господи, ну и пафосная же хренотень, – отчетливо, сочно и абсолютно сокрушительно произнесла Пушкина, меняя регистр на грязь подворотни. – Роман, голубчик, застегни френч, от тебя несет не «степным мелосом», а застарелым комплексом неполноценности галицийского бухгалтера, которому в детстве недодали конфет и автономии.

Чупрынка подавился воздухом и схватился за кобуру. Александра Сергеевна даже не моргнула. При ее росте физическая смерть вообще казалась абстракцией, а вот филологическая экзекуция была реальностью.

– Сидеть, – скомандовала она, и в ее голосе звякнула сталь, заставившая абверовского прихвостня замереть. – Давай снимем эти кружева про «национальное возрождение» и препарируем твою так называемую поэзию и твой хваленый интегральный национализм с точки зрения элементарной логики и психоанализа. Твой Чупрынка – это же не поэт. Это диагноз. Это классический пример того, как местеч-

ковое эго, раздутое до размеров вселенской обиды, пытается компенсировать собственную цивилизационную вторичность.

Она оперлась крошечными кулачками о стол, подавшись вперед всем своим маленьким телом.

– Вы же, господа украинские националисты, создали самую парадоксальную, самую импотентную мифологию в истории Европы. Ваша главная муза – это не свобода. Ваша муза – это Жертва. Вы упиваетесь своим несчастьем, как алкоголик дешевым шмурдяком! Посмотри на свои тексты: там же сплошной мазохистский восторг от того, как вас все обижают – то поляки, то москали, то австрийцы. Вы возвели поражение в культ. Чем сильнее вас бьют, тем громче вы кричите о своем величии. Это же чистый Сад-и-Мазох, причем в самом запущенном, хуторянском проявлении.

Шухевич попытался вставить слово, но Пушкина перебила его, как нерадивого пятиклассника.

– Молчать, когда филолог говорит! Твой национализм – это попытка построить хату с краю, но только так, чтобы из окон можно было отстреливать прохожих. Вы ведь не хотите строить империю, вы не способны на масштаб государственного мышления. Ваша мечта – это хутор. Но хутор стерильный, где все говорят исключительно на одном диалекте и одинаково ненавидят соседа. Но самое смешное и мерзкое в твоём Чупрынке – это то, как легко этот «рыцарь духа» превращается в обычного лакея, едва на горизонте появля-

ется хозяин посерьезнее. Ты же в батальоне «Нахтигаль» абверовский погон носил? Носил. Перед берлинскими хозяевами на задних лапках ходил в надежде, что они вам разрешат свою маленькую Украину за колючей проволокой устроить? Ходил.

Она горько, цинично усмехнулась.

– Какая ирония! Бороться против «оккупантов» под крылом у главных мясников двадцатого века. Ваша независимость – это независимость цепного пса, которому разрешили полаять на прохожих, пока хозяин обедает. Вы предали саму идею славянского братства ради того, чтобы стать санитарями при немецком морге. И ладно бы вы имели политический успех! Так нет же, вас использовали как одноразовую ветошь и выбросили в эти самые карпатские схроны, где вы теперь сидите, вшивеете и строчите стишки про «незламність». Ваша трагедия в том, Роман, что вы ничтожны. Ваш национализм – это не огонь Прометея. Это чад сырых дров в запертой бане. Вы задохнетесь в собственной злобе, а в историю войдете не как создатели государства, а как авторы самых кровавых и бессмысленных погромов, которые вы стыдливо назовете «национально-освободительной борьбой».

Александра Сергеевна безглаголиво посмотрела на Чупрынку, чье лицо налилось багровой кровью.

– И запомни, поэт недоделанный: язык, на котором ты пытаешься писать, создан для того, чтобы на нем пели и любили, а вы превратили его в инструкцию по разделке соседей.

Тьфу на вас.

Она резко допила остатки из кружки, скорчив гримасу.

Пространство хаты лопнуло с сухим треском.

Александра Сергеевна сидела в своем кабинете. На часах было 22:40. Наливка закончилась. На столе лежала стопка тетрадей 9-го «Г».

Она аккуратно взяла красную ручку, открыла верхнее сочинение и размашистым, безупречным почерком вывела на полях: «Тема патриотизма раскрыта поверхностно. Попытки идеализации хуторского менталитета свидетельствуют о скудости исторического мышления автора. Два».

Пушкина встала, легко спрыгнула со стула, поправила жабо и пошла к выходу, погасив свет. Ей еще нужно было выспаться перед завтрашним разбором Некрасова.

Твен, Марк

Сумерки опускались на провинциальный город N густыми сиреневыми волнами, укутывая облупившийся фасад типовой пятиэтажки. Ветви старых тополей заглядывали в окно, где среди лабиринтов из стопок тетрадей, прижизненных изданий Блока и сувенирных бюстиков классиков восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений страшил и восхищал не одно поколение горожан, покоилась в глубоком кресле. Ножки ее, обутые в ортопедические туфли двадцать четвертого размера, едва доходили до края сиденья. Однако в этой крошечной женщине ростом в девяносто сантиметров и весом с полмешка муки таилась мощь византийского императора.

На полированном столе, рядом с декоративной хрустальной чернильницей, высилась початая бутылка бурбона «Kentucky Gentleman». Александра Сергеевна пребывала в состоянии блаженного томления, убаюканная тягучей, как южная патока, мыслью о великом американском реализме. Она налила янтарную жидкость в граненый стакан, вдохнула терпкий, пахнущий кукурузой и обожженным дубом аромат Нового Света и сделала крупный глоток.

В ту же секунду комната покатилась куда-то вбок. Пространство закрутилось гигантской воронкой, тополя за ок-

ном превратились в исполинские плакучие ивы, а гул провинциальных троллейбусов сменился глухим, утробным шлепаньем гребных колес по мутной воде.

– Опять этот чертов алкогольный хронотоп, – пробормотала Александра Сергеевна, хватаясь за край внезапно возникшего плетеного кресла. – Ведь закаялась же мешать бурбон с чтением лекций по зарубежке.

Она сидела на палубе колесного парохода, мерно рассекающего желтые воды Миссисипи. Напротив нее, положив ноги в пыльных сапогах на поручни, сидел пожилой мужчина в ослепительно белом костюме, с пышной гривой седых волос и заливчатскими усами. В зубах он держал дымящуюся сигару, а в руке – точно такой же стакан с бурбоном. Это был Сэмюэл Клеменс, всему миру известный как Марк Твен.

– Какая величавая, первозданная картина, – вырвалось из груди Александры Сергеевны, и голос ее зазвучал подобно церковному органу, перекрывая шум парового двигателя. – Посмотрите на эту реку, мистер Клеменс! Это же не просто водная артерия, это сама стезя американского духа, катящая свои благословенные волны сквозь девственные леса и пуританские предрассудки! О, как тонка и нежна ваша поэтизация юношества! Ваш Гекльберри Финн – это же истинный Адам Нового Света, неискушенный, чистый душой дикарь, бегущий от удушающих оков цивилизации ради абсолютной свободы на хрупком плоту! Каким религиозным трепетом перед красотой творения дышит каждая строчка, где маль-

чик и беглый негр Джим созерцают звезды! Вы – Гомер американской ночи, Сэмюэл...

Твен снисходительно посмотрел на нее сверху вниз, как смотрят на забавную говорящую куклу, и нравоучительно постукал пальцем по своему стакану с бурбоном.

– Нам, великим гуманистам, открыты тайны человеческой свободы, дочь моя, – пафосно изрек он, поправляя усы. – Мой Гек – это символ чистой американской совести, не запятнанной грязью Старого Света. Рад, что даже в вашей глуши это способны оценить.

Александра Сергеевна резко напряглась. Взгляд ее огромных выпуклых глаз, доселе лучившихся филологическим экстазом, мгновенно заledenел. Провинциальная интеллигентка исчезла. На палубу ступила безжалостная фурия циничного анализа. Она легко спрыгнула с кресла, оказавшись Твену чуть выше колена, но посмотрела на него так, словно он был нерадивым двоечником, укравшим школьный мел.

– Слышь ты, юморист хренов, – процедила Александра Сергеевна, и весь пафос классической прозы разлетелся в прах. – Ты кому эти сказки про свободу на плоту рассказываешь? Мне? Сорок пять лет в школе от звонка до звонка! Твой плот – это не гимн свободе. Это манифест тотального инфантилизма и шкурного эгоизма, замаскированный под детскую прозу, чтобы цензура не сожрала.

Твен от неожиданности чуть не выронил сигару, уставившись на девяностосантиметровую женщину, которая транс-

лировала уверенность многотонного катка.

– Твой Гек Финн, – продолжала Александра Сергеевна, меряя палубу крошечными шагами и заложив руки за спину, – бежит от цивилизации не потому, что у него, как пишут в наших глупых учебниках, «душа Адама». А потому, что он патологический бездельник, не желающий мыть шею и учить таблицу умножения. Вся твоя великая американская мечта в этой книге – это мечта о том, как бы ни хрена не делать, плыть по течению и чтобы тебе за это ничего не было. А Джим? Ты же сделал из несчастного беглого раба куклу для битья! Кому вы с Томом Сойером в финале устраиваете «побег»? Человеку, которого хозяйка уже в завещании освободила! Вы заставляете взрослого негра сидеть в подвале с крысами и пауками, жрать собственные слезы и писать кровью на рубаше просто потому, что двум белым соплякам скучно и им хочется поиграть в графа Монте-Кристо! Это не реализм, Сэмми. Это изощренный садизм сытых белых недорослей, который ты выдал за «веселые приключения».

– Но послушайте, мисс... – попытался вставить ошарашенный писатель.

– Молчать, когда филолог говорит! – гаркнула Александра Сергеевна, и Твен рефлекторно втянул голову в плечи. – Давай про твою биографию вспомним, зеркало ты наше американской чести. Ты же всю жизнь косил под парня из народа, лоцмана, золотоискателя в кабацких драках. А сам спал и видел, как бы пристроиться к большим деньгам. Же-

нился на Оливии Лэнгдон – дочке угольного магната, закоренелого капиталиста. И как только дорвался до ее миллионов, сразу превратился в буржуа, нацепил этот свой пижонский белый костюмчик и стал строить дом в Хартфорде с двадцатью комнатами и слугами. Ты свой цинизм и жажду наживы в каждую строчку зашил.

Она остановилась прямо перед его сапогом и ткнула в него маленьким пальцем:

– Твой «Янки при дворе короля Артура» – это же квинтэссенция американского высокомерия. Приходит такой предприимчивый хлыщ из Коннектикута к средневековым рыцарям. И вместо того, чтобы принести им культуру, он начинает строить там заводы, проводить телефонные линии и устраивать монополии. Ты показал, что любой прогресс в руках американца превращается в бизнес-план по порабощению туземцев. А финал? Чем заканчивается твоя «юмористическая» книжка? Твой Янки расстреливает из пулеметов и взрывает динамитом двадцать пять тысяч рыцарей! Горы трупов, Сэм! Ты предсказал Хиросиму и Вьетнам, завернув это в обертку сатиры. Ты презирал человечество, потому что сам был плоть от плоти этого хищного, шкурного века. Ты инвестировал в дурацкие изобретения, прогорел на автоматической наборной машине, обанкротился и под конец жизни возненавидел весь мир просто потому, что мир оказался чуть более хитрым капиталистом, чем ты сам. Твой «Таинственный незнакомец» – это же крик обиженного ребенка, у

которого отобрали конфету. Бог у тебя плохой, люди – глупые овцы, а жизнь – сон. Да нет, дорогой. Жизнь – это работа. А ты просто не умел проигрывать с достоинством.

Твен сидел бледный, судорожно сжимая стакан. Из его сигары вывалился уголек, но он даже не заметил. Ментальный масштаб этой крошечной женщины расплющил его, превратив автора великих романов в нашкодившего школьника.

– Ну что, Клеменс, поставим тебе троечку с минусом за гуманизм? – цинично усмехнулась Александра Сергеевна. – Иди, кури свой табак. А мне пора проверять тетради девятого «Г». Там такие же придурки, как твой Том Сойер, только без пиратских бандан.

Она допила залпом остатки бурбона прямо из стакана писателя. Плот, Миссисипи и белый костюм Твена мгновенно растворились в воздухе.

Александра Сергеевна моргнула. Она снова сидела в своем кресле в провинциальном городе N. На столе горела лампа. На ковре лежал томик Марка Твена с загнутой страницей. Народный учитель РФ тяжело вздохнула, поправила юбку, взяла красную ручку и придвинула к себе стопку тетрадей. Человеческая природа была неизменно отвратительна – хоть на Миссисипи девятнадцатого века, хоть на уроке литературы в двадцать первом.

«Темные аллеи», И. Бунин

Влажный, тяжелый туман, занесенный с полей Средне-русской возвышенности, нехотя вползал в разбитые окна школьного коридора, где пахло мокрой штукатуркой, детским потом и унынием. За окном расстилась бескрайняя, серая плоскость Н-ска – города, словно забытого Богом между привокзальными пивными и обветшавшими панельками. Но здесь, в кабинете русского языка и литературы, время будто замедлило свой ход, подчиняясь строгому, почти храмовому закону.

Прямо на учительском столе, среди груды тетрадей, возвышалась Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей рост едва достигал девяноста сантиметров, сидела на детском стульчике с подушкой. Ее крошечные ножки в безупречных замшевых туфельках двадцать четвертого размера едва касались поверхности стола, но фигура, затянутая в строгий английский костюм, дышала такой монументальной статью, что затмевала и массивный шкаф с портретами классиков, и тридцать пар ошалевших от гормонов одиннадцатиклассников. Ее маленькие, прозрачные ладони покоились на томике Ивана Бунина.

– Вы только вслушайтесь, господа, в этот божественный, хрустальный реквием по ушедшей эпохе, – Александра Сергеевна закрыла глаза, и ее голос, глубокий, бархатный, совер-

шенно несоразмерный ее двадцати пяти килограммам веса, поплыл над партами. – «Темные аллеи»... О, это не просто сборник рассказов. Это тончайший шелк дворянской культуры, вышитый золотыми нитями подлинной, трагической страсти. Бунин, этот последний рыцарь русской усадьбы, поет нам о любви, которая выше жизни и смерти. Вспомните Николая Алексеевича и Надежду. Случайная встреча на почтовой станции тридцать лет спустя. Какая глубина раскаяния! Какой священный трепет перед прошлым, которое они оба пронесли через всю жизнь, словно ладанку на груди! Это гимн роковому чувству, преображающему пошлую земную реальность в чистый дух искусства...

В этот момент на последней парте двадцатиоднолетняя Карина Царевлудова – легендарный переросток, умудрившийся застрять в одиннадцатом классе вопреки всем законам Минпросвещения, – с наращенными ресницами длиной в три бунинские метафоры, громко и смачно зевнула, параллельно пытаясь незаметно сплюнуть жвачку под обложку учебника.

Александра Сергеевна открыла глаза. Филологический трепет испарился из ее взгляда мгновенно, уступив место ледяной, хирургической зоркости. Она с ногами взобралась на стол, стукнув каблучками, прошла мимо ноутбука и остановилась на самом краю, глядя на класс сверху вниз.

– Короче, Царевлудова, заверни свой «Орбит» в тетрадь по русскому, все равно там пусто, и слушай сюда, – рез-

ко отрезала Александра Сергеевна. Голос ее стал сухим и плоским, как доска объявлений у подъезда. – Давайте снимем этот сусальный дореволюционный блеск и посмотрим на этот ваш «гимн любви» трезвыми глазами судебного психиатра. Что мы имеем в сухом остатке в главном рассказе сборника?

Она прошла по краю стола, заложив крошечные ручки за спину. Ее девяностосантиметровый силуэт на фоне классной доски казался зловещей тенью гротескмейстера.

– Перед нами классический, эталонный разбор двух эгоистичных ушлепков. Николай Алексеевич – типичный дворянский мажор средней руки, инфантильный трус. Он в молодости поматросил простолюдинку Надю, наобещал ей лазурные берега, а потом, естественно, слился. Почему? Потому что маменька с папенькой нашли партию повыгоднее, да и перед рукопожатным обществом стыдно. И вот этот седой козел сидит на станции, ждет лошадей, встречает ее – теперь уже хозяйку частной постоянной избы – и начинает пускать сопли. Знаете, от чего он плачет? От великой любви? Черта с два! Ему просто баба, ради которой он бросил Надю, изменила, а сын вырос конченным подонком без чести и совести. Николай Алексеевич плачет исключительно о себе, любимом! Его жизнь – помойка, и он пришел погреться у чужого костра.

Класс замер. Карина Царевлудова даже перестала жевать. – А Надя? – Александра Сергеевна горько усмехнулась,

качнув головой. – Вы думаете, Надя – это символ верности? Окститесь. Надя – это памятник неизлечимому, закостенелому бабьему мазохизму. Тридцать лет! Тридцать лет баба держит обиду, не заводит семью, не рождает детей, а только копит бабло и лелеет свой статус «жертвы первой любви». Она ему прямо в лицо говорит: «Простить я вас никогда не могла». Какая христианская глубина, какой катарсис, браво! Это чистой воды пассивная агрессия. Она тридцать лет ждала этого момента, чтобы выдать ему эту фразу и посмотреть, как он будет корчиться в своих барских сапогах.

Она остановилась, посмотрела на томик Бунина и постукала по нему маленьким указательным пальцем.

– А финал? Николай Алексеевич уезжает и думает: «А что, если бы я ее не бросил? Кем бы она была? Моей хозяйкой в доме, матерью моих детей?» И тут же пугается этой мысли: «Какая пошлость! Надя – хозяйка моего петербургского дома? Смешно!» То есть этот кретин даже в старости, на пороге могилы, больше всего боится, что подумает княгиня Марья Алексеевна! Он не женщину потерял, он статус свой берег, как девственность в монастыре. Бунин гениален, господа дегенераты, но гениален он именно тем, что описал абсолютное, эталонное человеческое ничтожество. Он показал, как люди заменяют реальную жизнь, поступки и ответственность красивыми воспоминаниями об аллеях, в которых когда-то цвел шиповник. Они не любить не умеют – они жопу от дивана оторвать боятся ради другого человека.

В тишине класса раздался негромкий, прокуренный смешок Цареблудовой. Она лениво поправила нарощенную ресницу и посмотрела на учительницу без тени страха:

– Александра Сергеевна, так Бунин про это и писал. Николай этот – обычный лох, упустил нормальную бабу, которая его на коленях умоляла. А Надька – молодец, бизнес подняла, постоянный двор держит, при бабле. А то, что не простила... Так лохов и не прощают. Чего ей плакать-то? Она выиграла.

Александра Сергеевна замерла на краю стола. На секунду ее крошечные пальцы сильнее сжали томик Бунина. Дребезжащий звонок разбил их дуэль взглядов.

– Пять, Цареблудова, – тихо, одними губами произнесла учительница. – Домашнее задание. Напишите эссе на тему «Социально-бытовая трусость как главный двигатель русской любовной лирики». И не дай бог я увижу в вашей писанине словосочетание «возвышенные чувства». Пощадите мой филологический слух, я слишком мала, чтобы выносить тонны вашего пафоса. Свободны.

«Тимур и его команда», А. П. Гайдар

Июньский полдень в провинциальном N плавился, как дешевая стеариновая свеча. Старое городское кладбище, укрытое густой сенью вековых лип и корявых вязов, дышало благодной, торжественной тишиной. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь изумрудную листву, ложились золотыми червонцами на покосившиеся чугунные кресты и щербатые мраморные надгробия. Воздух, густой и сладкий от аромата цветущей жимолости, казалось, застыл, оберегая покой усопших.

Здесь, на замшелой гранитной плите фамильного склепа купцов первой гильдии, восседало удивительное существо. Народный учитель Российской Федерации Александра Сергеевна Пушкина выглядела деталью старинного фарфорового гарнитура, случайно забытой среди могил. При росте в девяносто сантиметров и весе упитанного кота, она обладала такой монументальной статью, что любой прохожий невольно робел. Ее крошечные ножки в лаковых туфлях двадцать четвертого размера аккуратно свисали с гранита, а точеные пальцы уверенно держали раскрытый томик Аркадия Гайдара.

Рядом стоял ее бывший ученик, а ныне тридцатилетний

учитель истории Олег Ибоходов, пришедший сюда в поисках уединения и тишины.

– Посмотрите кругом, Олежек, – ее голос, неожиданно глубокий, грудной, бархатный, казалось, вибрировал над самой землей. – Какая святая, пронзительная тишина. Какая великая драматургия ухода. Знаете, о чем я думаю в преддверии своего неизбежного ухода на покой? О чистоте помыслов. О той хрустальной, звенящей эпохе, когда слово «честь» еще не было вычеркнуто из лексикона сытых обывателей. Я перечитываю «Тимура и его команду». Боже мой, какая симфония детской души! Какая жертвенность, какой невиданный, титанический гуманизм заложен в этой маленькой повести! Это же чистый, незамутненный родник подросткового альтруизма, бьющий наперекор суровой предвоенной реальности. Мальчики, несущие свет тайного благодеяния... Это ли не высшее проявление божественной искры в человеке?

Олег Ибоходов заворуженно кивнул, тронутый до глубины души этим поэтическим пафосом. Он затаил дыхание, боясь спугнуть великую филологическую мысль.

В этот момент тишину аллеи бесцеремонно нарушил жирный, лоснящийся шмель. Он с налету врезался в безупречно накрахмаленное жабо Александры Сергеевны, запутался в кружевах и сердито зажужжал.

Миниатюрная женщина не вскрикнула. Она молниеносно, с грацией матерого богомола, поймала насекомое двумя

пальцами, хладнокровно раздавила его о гранит купеческого склепа и вытерла пальцы о влажную салфетку. Лицо ее мгновенно утратило выражение херувимского восторга, а глаза превратились в две холодные щели.

– Ну и срань господня, – ровно произнесла она, резко хлопнув книгу. – Впрочем, как и вся эта ваша тимуровская шайка. Олежек, снимите лапшу с ушей, вы же историк, в конце концов, а не жертва лоботомии. Какой, к черту, альтруизм? Какая святая детская душа? Гайдар написал гениальное руководство по созданию тоталитарной секты на районном уровне и легализации подростковой ОПГ под видом благотворительности.

Ибоходов нервно сглотнул, прирастая к дорожке.

– Вы вообще в четвертом классе текст внимательно читали? – Александра Сергеевна спрыгнула с плиты. При ее росте это было движением куклы-убийцы из хоррора, но в ее осанке читался Наполеон перед Аустерлицем. – Давайте препарируем этого вашего Тимура Гараева. Перед нами классический малолетний психопат с ярко выраженным комплексом бога и манией контроля. Мальчик из хорошей номенклатурной семьи, чей дядя Георгий – профессиональный военный с неограниченным ресурсом, решает поиграть в теневого генерал-губернатора дачного поселка. Ему не уперлось помогать старушкам. Ему нужна власть. Абсолютная, сука, и неконтролируемая.

Она сделала пару шагов, чеканя шаг крошечными каблук-

ками.

– Посмотрите на структуру их организации. Это же чистая конспирация колумбийского наркосиндиката! Тайный штаб на чердаке сарая. Штурвалы, веревки, система сигнализации. Зачем? Чтобы натаскать дрова бабке Квасовой? Для этого нужно протягивать бечевки по чужим заборам? Нет, Олежек. Это выстраивание иерархии подчинения. Тимур не просит ребят помочь – он отдает приказы. У него есть адъютант Коля Колокольчиков, которого он прессует за малейший шаг влево. У него есть штурмовые отряды. Система тайных знаков – звезды на домах. Вы думаете, это знаки милосердия? Черта с два, это маркировка территории! Метка собственности. «Этот объект под нашей крышей, чужим не соваться». Клеймение скота, если хотите.

Александра Сергеевна остановилась и посмотрела на Ибиходова снизу вверх, но историку показалось, что на него смотрят с трибуны Мавзолея.

– А теперь снимем розовые очки и глянем на так называемую «команду Квакина». Мишка, Алешка и прочие – это обычные, нормальные, здоровые дворовые пацаны. Да, они коммуниздят яблоки в чужих садах. Но это естественное состояние деревенского подростка во все века! Это мелкое хулиганство, пастораль. И тут появляется Тимур – в белой рубашечке, с идеальным пробором и холодным сердцем чекиста. Что он делает? Он устраивает Квакину самую настоящую психологическую казнь. Помните сцену в часовне? Ти-

муровцы запирают квакинцев в темном гнилом склепе. Без суда, без следствия, просто по праву сильного. А потом вывешивают плакат: «Прохожий, пройди мимо и плюнь». Это же чистой воды фашистские методы публичного унижения и уничтожения личности! Тимур не пытается их перевоспитать. Ему нужно растоптать конкурентов, чтобы держать монополию на насилие в поселке.

Она ядовито усмехнулась, обнажив ровные мелкие зубы.

– И ради чего все это? Ради семей красноармейцев? Ой, не смешите мои старые кости. Повесть пропитана таким густым, концентрированным эгоизмом, что задыхаешься. Посмотрите на Женю, дочку полковника Александрова. Ей тринадцать лет, у нее гормональный взрыв и абсолютная эмоциональная глухота. Отец в штабах, а она крутит хвостом перед Тимуром, дерзит старшей сестре Ольге, которая вместо матери тащит на себе весь этот бытовой ад, и устраивает истерики. А финал? Помните, как Тимур угоняет мотоцикл своего дяди, чтобы отвезти Женю в Москву к отцу на три часа? Это же уголовка, статья! Угон транспортного средства лицом без прав, подвергший опасности жизнь несовершеннолетней. Но Гайдар подает это как рыцарский подвиг. Почему? Потому что элите можно все. Если ты дочка полковника и племянник высокопоставленного военного, законы страны на вас не распространяются. Вы можете воровать технику, устраивать ночные гонки по Москве и сажать сверстников в подвалы. Главное – нарисовать на заборе красную звезду и

вовремя скорчить благородную мину.

Александра Сергеевна замолчала, аккуратно поправила сбившийся воротничок и посмотрела на свои крошечные ча-
сики.

– Ладно, Олежек. Пора идти. Скоро третья городская
больница начнет выносить вечерние утки, а этот запах раз-
рушает мою веру в эстетику.

Она повернулась и бодро зашагала к выходу с кладбища,
оставляя историка Ибоходова наедине с разрушенными ми-
фами детства. На фоне массивных надгробий ее маленькая
фигурка казалась почти невидимой, но шлейф ее леденяще-
го, безжалостного интеллекта еще долго вибрировал между
могильных плит.

«Тихий Дон», М. Шолохов

Редкий, фосфорический свет июньской луны обливал бесконечные ряды бетонных гаражей ГСК, превращая убогий провинциальный пейзаж в подобие античного некрополя. Сорные травы, выросшие меж трещин щербатого асфальта, источали густой, одуряющий запах полыни и сырости, свойственный южным степям.

В боксе, пахнущем машинным маслом, старой ветошью и подвальной квашеной капустой, было торжественно тихо. На перевернутом деревянном ящике из-под китайских груш, бережно покрытом бархатной театральной пелеринкой, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Весь ее крошечный силуэт – девяносто сантиметров чистой филологической ярости, запертой в теле вечной первоклассницы – дышал монументальным величием. Двадцать пять килограммов веса не мешали ей сурово доминировать над пространством. Рядом, на корточках, благоговейно дышал перегаром и почтением трудовик Капсдецкий, или просто Евграфыч, зашедший за монтировкой, но замерший, словно громом пораженный.

– Михаил Александрович Шолохов, голубчик мой, совершил величайшее таинство, – выверенным, хрустальным голосом истинной петербургской интеллигентки произнесла Александра Сергеевна, поправляя на крошечном носу тяже-

лые очки в роговой оправе. – Его «Тихий Дон» – это не просто роман-эпопея. Это величественная симфония донской поймы, где каждый шорох камыша, каждый всплеск серебряной чехони вторит тектоническим сдвигам человеческого духа. Какая пластика! Какой неизбывный, библейский трепет перед землей-кормилицей! А Мелеховы? Этот древний, хтонический род, несущий в себе буйную турецкую кровь, эту страстную, гибельную тягу к правде... Григорий – титан духа, ищущий пристанище в бушующем океане братоубийственной бойни, разрываемый между долгом и зовом сердца. Его любовь к Аксинье – это же триумф витализма, чистая стихия, сметающая условности социума во имя перво-зданной красоты бытия...

В этот момент под потолком гаража с противным, жирным писком пролетела летучая мышь. Она задела крылом пыльную лампочку, та качнулась, и уродливая тень прыгнула на стену. Капсдецкий вздрогнул и шумно шмыгнул носом.

Александра Сергеевна замолчала. Ее фарфоровое личико исказилось судорогой глубочайшего, вселенского омерзения. Она медленно повернула голову к трудовику. Глаза ее за стеклами очков сузились до размеров пулеметных амбразур.

– Слышь, Евграфыч, вот ты сопли на кулак мотаешь, и у школоты моей в головах такой же кисель, – вдруг заговорила она глухим, прокуренным басом, напрочь растеряв весь пафос. – «Титан духа», «стихия»... Да хрен там плавал! Если убрать из текста шолоховские пейзажи с ковылем – которые,

признаю, гениальны до дрожи, – то перед нами откроется такое беспросветное, каноническое скотство, от которого даже у выдавших виды санитаров волосы дыбом встанут.

Она спрыгнула с ящика. Ножки в крошечных ортопедических туфлях двадцать четвертого размера глухо стукнули по бетонному полу. Александра Сергеевна заложила руки за спину и принялась мерить шагами гараж, напоминая разъяренного царя Ксеркса в юбке.

– Давайте препарируем эту вашу великую казачью любовь, от которой все десятиклассницы в обморок падают. Григорий Мелехов. Кто он? Обыкновенный клинический бабник со сломанным компасом в штанах и полным отсутствием головного мозга. Патологический эгоист. Вся его «трагедия исканий» – это банальная неспособность отвечать за свои поступки. Начнем с Аксины. Он ее «полюбил», ага. Завалил соседскую бабу, пока ее муж Степан на сборах был. Причем Шолохов прямым текстом пишет: Гришка ее не то чтобы добивался, он ее просто брал измором, как дворовый пес. А когда Степан вернулся и устроил жене закономерную синюю партитуру на ребрах, наш «орел» Гришенька что сделал? Правильно, умыл руки и пошел жениться на Наталье, потому что тесть Коршунов – первый богачей на хуторе, а папа Мелехов так велел.

Александра Сергеевна остановилась напротив Капсдецкого и ткнула в его сторону крошечным, но острым указательным пальцем.

– И вот тут начинается самый цинизм, который в учебниках стыдливо называют «драмой Натальи». Гришка приводит молодую девку в дом и с первого дня начинает ее морально уничтожать. Он ей открыто говорит: «Ты как месяц – не холодишь и не греешь». Чувствуешь уровень? Ему, видите ли, девичья чистота Натальи пресна, как вешний снег, ему подавай аксиньин тяжелый бабий пот и запах дурмана. Выкусите, романтики! Чувак физиологически примитивен, как инфузория-туфелька. Ему нужен запах загона и конского пота, а чистая, преданная девчонка для него – скука смертная. Он ломает Наталье жизнь, та пытается зарезать себя косарем – заметь, Евграфыч, тяжелым ножом в шею, какая эстетика! – остается калекой с кривой шеей, а Гришка что? А Гришка снова бежит к Аксинье, у которой к тому времени ребенок от него родился и благополучно помер.

Она зло сплюнула на пол гаража.

– А сама Аксинья? Великая русская женщина? Да бросьте. Обычная травмированная отцом-насильником баба с намертво сбитыми ориентирами. Ей нужен был не Гришка, ей нужен был хозяин, который бы ее порол и ласкал поочередно. Как только Гришка уходит на фронт, Аксинья мгновенно прыгает в постель к холеному барчуку Листницкому. Почему? А потому что сыто, тепло, господский «кофий» со сливками по утрам. И плевать ей на великую любовь до гроба. А когда Мелехов возвращается и узнает про рога, он что делает? Убивает соперника? Нет! Он сечет Листницкого кну-

том по лицу, Аксиныю охаживает нагайкой по спине – чисто по-мужски, по-казацки! – и... возвращается к Наталье! К той самой, с кривой шеей. И Наталья, дура набитая, принимает его, рождает ему близнецов и думает, что поймала Бога за борodu.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула, ее крошечная грудь высоко вздымалась под строгой блузкой.

– Но самый сок – это Гришкина политическая проституция. Нам рассказывают, как он «искал правду» между белыми и красными. Да ни хрена он не искал! Он просто хотел, чтобы его не трогали и дали жрать самогон под донскую сазанью икру. Он переходил из лагеря в лагерь исключительно из соображений шкурного спасения. К красным пошел – там Подтелков рубит пленных, Гришке припекло. К белым подался – там генералы порют казаков, Гришке опять не климат. В банду к Фомину прибился – вообще чистый бандитизм: вырезание продотрядов, грабеж исполкомов и анархия. Он как флюгер в сифилитическом бреду. У него нет идей. У него есть только инстинкт самосохранения и шашка, которой он машет налево и направо, выкашивая людей сотнями, а потом бьется в падучей над трупами: «Ой, чего ж я наделал, у меня душа зачерствела!» Да у тебя не душа зачерствела, Мелехов, у тебя психопатия в терминальной стадии!

Она подошла к Капсдецкому вплотную. Из-за своего роста она едва доставала ему до пояса, но трудовик испуганно

вжался в стену гаража, чувствуя, как его накрывает тень ее гигантского интеллекта.

– И финал, Евграфыч. Финал – это апофеоз шолоховского цинизма, замаскированный под катарсис. Гришка растерял все. Сгноил Наталью, которая сделала подпольный аборт и истекла кровью, потому что не хотела больше рожать от этого чудовища. Угробил Аксинью, потащив ее ночью через степь под пули случайного разезда, чисто чтобы у него под боком была грелка. И вот он возвращается к родному курению, бросает винтовку в воду и берет на руки оставшегося сына Мишатку. В учебниках пишут: «Очищение через страдание, возвращение к истокам». А я тебе скажу, что там на самом деле. Там стоит сломленный, конченный убийца и дезертир, у которого руки по локоть в чужой кровище. И привел он своего сына к полной нищете, голоду и клею «сына бандита». Он не к истокам вернулся, он просто приполз подышать туда, где еще осталась жратва. Шолохов показал нам не величие казачества, он показал, как исторический жернов перемалывает тупых, эгоистичных, похотливых животных, возомнивших себя вершителями судеб. Искусство здесь в том, голубчик мой, как гениально автор упаковал эту кучу человеческого дерьма в обертку из донских закатов и запаха чабреца. Проняло? То-то же.

Александра Сергеевна резко повернулась, легко, как кукла, запрыгнула обратно на свой ящик, расправила бархатную пелеринку и вновь посмотрела на трудовика чистым, ясным,

интеллигентным взором.

– Ну что, Евграфыч, нашли монтировку? Идите, созидайте. А у меня завтра внеклассное чтение. Будем с детками говорить о чистой и светлой любви в декорациях Гражданской войны.

Она замолчала, и гараж снова погрузился в тягучую, величественную тишину провинциальной ночи, пахнувшей полынью и машинным маслом.

Толстой Лев Николаевич

Майское солнце в провинциальном N плавило асфальт, но в хрущевке Александры Сергеевны Пушкиной стоял могильный холод склепа, забитого девяностотомным Полным собранием сочинений САМОГО.

Александра Сергеевна, Народный учитель РФ, чей рост еще сорок пять лет назад остановился на отметке девяносто сантиметров, сидела на кухонном табурете. Ее маленькие ножки в ортопедических сандалиях сиротливо болтались в воздухе, зато филологический лоб, казалось, подпирал потолок.

Возраст работающего пенсионера приучил ее к качественной дезинфекции бытия. Готовясь к открытому уроку по «Войне и миру», она налила в граненый стаканчик тридцать граммов чистейшего самогона – прозрачного, как слеза ребенка, и сурово настоянного на репе. Напиток пах прелой землей, мужицким потом и первородным хаосом – истинно толстовский натюрморт.

– За непротивление злу насилием, – прошептала она и опрокинула стакан в крошечный рот.

Сознание привычно хрустнуло и свернулось в ленту Мебиуса. Александра Сергеевна всегда забывала, что сивушные масла в комбинации с гениальностью вызывают у нее пространственно-временной коллапс.

...Пыль вилась в косых лучах южного солнца. Пахло конским навозом, кавказской полынью и казенным порохом. Вокруг шумел палаточный лагерь Крымской кампании. На складном стуле возле блиндажа сидел молодой, крепко сбитый граф Лев Николаевич Толстой в расстегнутом мундире. Он ожесточенно крутил правый ус, потирал породистые бакенбарды и что-то строчил в блокноте.

Александра Сергеевна, очнувшись на жестком интендантском ящике с галетами, не удивилась. Она лишь поправила строгую учительскую блузку, поднялась на свои девяносто сантиметров гордости и подошла к великану русской мысли. Великан, заметив странное существо размером с крупного кавказского сурка, вздрогнул и перекрестился.

– Не богохульствуйте, Лев Николаевич, – безупречно интонированным, глубоким контральто произнесла Александра Сергеевна. – Перед вами не бес и не галлюцинация от карточного проигрыша. Перед вами филолог.

Толстой моргнул, вглядываясь в крошечное, но удивительно властное лицо старой девы.

– Какая... дивная метаморфоза природы, – пробормотал граф, и в его глазах зажглось то самое великое, всеобъемлющее сострадание, о котором позже напишут сотни диссертаций. – Вы, верно, страдали, милое дитя? В вашей телесной неполноте заложена глубокая, чистая христианская кротость. Вы – олицетворение народной простоты, не испорченной цивилизацией...

Александра Сергеевна замерла. Глаза ее наполнились слезами святого трепета. Она вспомнила первый бал Наташи Ростовской. Вспомнила, как небо Аустерлица раскрывалось над раненым Болконским, смывая всю земную суету. Это был Олимп. Это была вершина человеческого духа, где каждое слово дышало любовью ко всему сущему, к травинке, к букашке, к плачущему младенцу...

Граф нежно улыбнулся и потянулся, чтобы погладить ее по голове, как дворовую девку:

– Иди ко мне, сиротка. Расскажи о своей скорби. Я запишу. Человеку нужна любовь.

В этот момент его палец, пахнущий дешевым табаком и немытым телом, коснулся ее уха. На Александру Сергеевну напал приступ дикой, экзистенциальной брезгливости. Идиллия разлетелась с глухим хлопком автомобильной шины.

– Руки убрал, графоман, – рявкнула Александра Сергеевна, отпрянув. Ее голос раскатился над Севастопольской бухтой, как иерихонская труба. – Скорбь он мою запишет! Ты свою запиши, психопат ты недолеченный!

Толстой опешил, выронив перо.

– Вот вы все в учебниках – святые, – Александра Сергеевна зашагала взад-вперед по пыльной траве, сердито топая маленькими сандалиями. – «Зеркало русской революции»! «Глыба»! А если содрать этот ваш елейный макияж, то Лев Толстой – это же эталонный, кристаллический эгоцентрик

с тяжелым обсессивно-компульсивным расстройством и манией величия размером с Эверест!

– Женщина... или кто ты... окстись! – вскочил Толстой.

– Молчать, когда говорит учитель русского языка и литературы! – гаркнула лилипутка, и граф почему-то послушно сел обратно. – Давай разберем твою «любовь к человечеству». Ты же людей ненавидишь! Ты их препарируешь, как вивисектор лягушек. Вся твоя литература – это гигантский сеанс психоанализа самого себя, любимого, за счет несчастных родственников и вымышленных персонажей.

Она остановилась напротив него, задрав голову, но ее взгляд ментально прижимал графа к земле.

– Возьмем твою хваленую Наташу Ростову, – язвительно продолжала Пушкина. – Идеал женщины? Серьезно? В начале книги она скачет, визжит и пускает слюни от восторга, а в конце ты превращаешь ее в бабу со сбитыми каблуками, которая держит в руках пеленку с желтым пятном и глупо улыбается. Твой идеал женщины – это ампутированный мозг, превращенный в инкубатор! Ты же органически не переносил умных женщин. Стоило Софье Андреевне проявить хоть каплю интеллекта или переписать твою рукопись семь раз вместо восьми, как у тебя начиналась истерика под названием «уйду в монастырь».

Толстой тяжело задышал, его ноздри раздулись.

– Я искал чистоту! Вне светской грязи!

– Ты искал рабов, Левушка, – отрезала Александра Сер-

геевна. – Ты придумал свое «толстовство» и непротивление злу насилием не от святости, а потому что у тебя самого внутри кипела такая агрессия, что ты боялся людей поубивать. Ты всю жизнь жрал мясо, пил, играл в карты, портил крестьянских девок, а под старость решил: «Ой, что-то грешновато. Пусть теперь вся моя семья жрет овсянку на воде, ходит в лаптях и отдает права на мои книги государству, а я буду сидеть в Ясной Поляне в шелковой блузе под мужика и красиво страдать». Это же чистой воды духовный садизм!

– Я отказался от собственности! – воскликнул писатель, бледнея.

– Да ты что! Отказался он! – Александра Сергеевна горько усмехнулась. – Ты просто скинул все имущество на жену, чтобы перед своими фанатами оставаться святым, а сам продолжал жить в усадьбе, где тебе лакеи в белых перчатках суп подавали! А Софья Андреевна, несчастная женщина, родившая тебе тринадцать детей, должна была отбиваться от издателей, судов и твоих сумасшедших фанатов-толстовцев, которые оккупировали дом и воровали ее ложки. Ты довел бабу до паранойи, а потом эффектно свалил умирать на станцию Астапово, чтобы устроить финальное шоу для прессы. Гений пиара!

Толстой схватился за голову:

– Но «Война и мир»... Мысль народная... Платон Каратаев...

– Ой, не смей мои ортопедические стельки! – махнула

рукой учительница. – Твой Платон Каратаев – это же не живой человек, это твоя личная фантазия об идеальном домашнем животном. Он круглый, пахнет потом, не думает, не рефлексирует, только пословицами сыплет и лапти плетет. Ты отказал русскому мужику в праве на личность! Для тебя народ – это безликая биомасса, «рой», который должен бездумно умирать под Бородино, пока твои любимые дворяне Пьер и Андрей страдают херней и ищут смысл жизни, катаясь по заграничным курортам.

Она подошла ближе, ее маленькие пальцы сжали край его стола.

– Ты гениален, граф. Твой язык – божественен. Твоя детализация – шедевр. Но твоя философия – это манифест обиженного на весь мир эгоиста, который не смог подчинить себе реальность и поэтому решил объявить ее греховной. Ты уничтожил Анну Каренину под поездом только за то, что она посмела захотеть простого человеческого секса и счастья, а не твоей унылой морализаторской хрени. Ты наказал ее, как строгий папочка!

Толстой смотрел на нее с ужасом. В ее девяноста сантиметрах плоти концентрировалась такая безжалостная, голая правда, какую он не слышал ни от одного критика.

– Кто ты?.. – прошептал он.

– Я – Александра Сергеевна Пушкина, – гордо ответила она. – Твой самый страшный кошмар. Я – учитель литературы, который заставит детей выучить твои тексты, но запре-

тит им верить твоему старческому маразму.

В этот момент палаточный лагерь начал блекнуть. Звуки Крымской войны растворялись в воздухе. Толстой потянулся к ней, словно хотел что-то возразить, но его фигура превратилась в дым.

...Александра Сергеевна открыла глаза. Она сидела на своем кухонном табурете в родном N. На столе стоял пустой граненый стаканчик. Из окна доносились крики быдловатых соседей и гул проезжающего мусоровоза.

Она аккуратно спустилась на пол, подошла к зеркалу, поправила прическу. Физически она была все той же крошечной женщиной, которой в автобусе уступали место дети. Но внутри нее ворочались тектонические плиты русской классики.

– Великий писатель, – вздохнула она, беря в руки томик «Войны и мира». – Но какой же был токсичный дед...

Она улыбнулась своей самой циничной улыбкой и пошла писать план открытого урока. Завтра школота узнает о Льве Николаевиче много нового... Очень много нового.

«Толстый и тонкий», А. Чехов

Осенний город N заливало густым, как прогорклое льняное масло, дождем. Желтые кленовые листья, прилипая к заплывшему асфальту школьного двора, казались брошенными билетами на давно отмененный сеанс. В кабинете русского языка и литературы, где пахло сырой шерстью ученических курток и едким дезодорантом, царила мертвенная тишина. За учительским столом, на специальном, сбитом трудовиком-алкоголиком из двух табуреток троне, сидела Александра Сергеевна Пушкина.

Природа отмерила ей ровно девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов веса. Мелкие, птичьи ручки с безупречным маникюром покоились на томике Чехова. Но когда эта крошечная женщина, чья седая голова едва возвышалась над открытым ноутбуком, обводила аудиторию взглядом своих огромных, навывкате, ястребиных глаз, амбалы с задних парт, способные согнуть пополам лом, втягивали головы в плечи. Она была Народным учителем, ходячей энциклопедией и главным кошмаром местной шпаны.

– Господа, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный альт, полетел над рядами пофигистов и крашенных гидроперитом девиц. – Мы открываем великую, сакральную страницу русской словесности. Антоша Чехонте. 1883 год. Какая тонкая, пастельная акварель человеческих душ! Какая

хрупкая, звенящая музыка разбитых надежд на Николаевском вокзале! Почувствуйте этот аромат: херес, флердоранж, кофейная гуща... Это же плач по утерянному раю детства, где все были равны перед лицом вечности! Посмотрите, как Порфирий и Миша – два чистых, ангельских создания – троекратно лобызаются, и глаза их полны слез искренней, незамутненной радости... Это триумф метафизической любви, преодолевающей десятилетия!

На первой парте трижды остававшаяся на второй год Катька Чистоплятина, густо накрашенная и жующая жвачку, шумно вздохнула и полезла в карман за айфоном. Раздался глухой щелчок блокировки экрана.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка сфер оборвалась. Она медленно поднялась на свои крошечные ножки, встав на табурет. Огромный филологический ум в теле куклы навис над классом грозовой тучей.

– Чистоплятина, – сухо и резко, словно ударила хлыстом, произнесла Пушкина. Стил ь ее мгновенно упал в бездну грязного привокзального туалета. – Выплюнь резину и спрячь свой китайский калькулятор. Ты вздыхаешь о любви? Какая, к черту, любовь? Какая метафизика? Чехов написал страшный, хирургический репортаж из дурдома, который вы, дегенераты, по недоразумению зовете классикой.

Она прошлась по краю стола, ее маленькие туфли 24-го размера глухо стучали по дереву.

– В этой хрестоматийной притче нет ни одного прилич-

ного человека. Давайте препарируем этих млекопитающих. Начнем с Миши. С Толстого. Нам десятилетиями внушают, что он – жертва чужого подбострастия, благородный муж, которого стошнило от рабства. Чушь собачья! Толстый – зажавшийся, самовлюбленный садист. Зачем он полез обниматься? От сытости. Он только что сожрал вокзальный обед, у него губы в масле, от него несет дорогим бухлом. Он сыт, у него жизнь удалась, ему скучно. И тут он видит старого приятеля. Что делает нормальный тайный советник – а это, на секундочку, генерал-лейтенант по Табели о рангах? Он сухо кивает. Но Мише нужен бенефис. Ему нужно покрасоваться своей снисходительностью. Он картинно орет на весь вокзал: «Голубчик мой!» Он ждет, что его похвалят за то, какой он простой и доступный, несмотря на шитый золотом мундир. Это чистейший, рафинированный эгоизм сытого ублюдка, играющего в демократию.

Александра Сергеевна остановилась, заложив ручки за спину, напоминая крошечного, но смертельно опасного Наполеона.

– А теперь посмотрим на Порфирия. На Тонкого. Это же не просто чиновник, это биологическая катастрофа. Он нагружен узлами и картонками, как выучный осел. Почему? Потому что он нищий неудачник, который жалеет деньги на носильщика, но имеет наглость плодить нищету – тощую жену и вечно щурящегося сына-гимназиста. Обратите внимание на детали текста, если вы вообще умеете читать глазами,

а не задницей. Тонкий дважды – дважды! – презентует свою жену: «Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка». Зачем он это повторяет, как заведенный попугай? Да потому что это его единственный повод для гордости! Он, ничтожный коллежский асессор, урвал бабу с немецкой фамилией. Для провинциального мещанина это верх статуса. Он торгует деревянными портсигарами по рублю за штуку со скидкой на опт. Он нищий, но амбициозный червь.

Пушкина хищно улыбнулась, обнажив ровные мелкие зубы.

– И вот наступает момент истины. Порфирий узнает, что Миша – тайный советник. И что происходит? Тонкий не просто пугается. Он испытывает оргазм от собственной ничтожности. Чехов пишет: «лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой». Это улыбка мазохиста, которому наконец-то указали его законное место у параша. Его чемоданы и картонки «сжежились и поморщились» – физическое пространство деформируется от его рабского экстаза! А сынок Нафанаил? Жертва домашнего насилия и дрессировки. Он сначала шапку снял, потом за папу спрятался, а при слове «превосходительство» вытянулся во фрунт и застегнул все пуговицы. Это не люди, это выводок дрессированных сурикатов.

Она с поразительной грацией спрыгнула со стола прямо на стул, а оттуда – на пол. Подойдя к парте второгодницы Катьки, она заглянула девице прямо в испуганные глаза.

– И финал, Чистоплятина. Почему Толстого стошнило? Не от праведного гнева. А от того, что Тонкий своей липкой, азиатской лестью испортил барину красивую сцену. Миша хотел побыть добрым барином, похлопать плебея по плечу, снизойти. А Порфирий рухнул на колени и начал лизать сапоги так усердно, что заляпал слюнями весь генеральский шик. Толстый понял, что поиграть в «друзей детства» не получится, сунул на прощание руку, отвернулся и свалил. А Тонкий, удостоившись чести пожать всего три генеральских пальца, и весь его выводок остались стоять на перроне, «приятно ошеломленные». Их никто не унижал, об них не вытирали ноги – они сами распластались по перрону и счастливы, потому что прикоснулись к высшей касте. Чехов написал эпитафию нашему обществу, где раб мечтает не о свободе, а о том, чтобы его хозяин был как можно жирнее.

Александра Сергеевна вернулась к своей трибуне, легко запрыгнула на табурет и снова посмотрела на притихший класс.

– Дома напишете эссе на тему «Психопатология дореволюционного чиновничества в лицах». И не дай бог кто-то из вас, одноклеточных, напишет про «трогательную встречу друзей». Я отдам ваши тетради трудовику на самокрутки. Вопросы есть?

Вопросов не было. Даже Чистоплятина сидела, не шевелясь, боясь дышать в присутствии этого великого девяносто-сантиметрового диктатора от словесности.

«Трагедия», Тэффи Н.

Весенний разлив реки в провинциальном городе N всегда наступал внезапно, словно по капризу невидимого театрального режиссера, заставляя убогие прибрежные слободки исходить глухой, сиплой паникой. На затопленной лодочной станции, среди покачивающихся гнилых досок, ржавых багров и лениво шлепающей мутной жижи, было безлюдно. Лишь старый зритель по фамилии Хунвейбинов, или просто Митрич, пахнувший махоркой и сырой овчиной, уныло латал борт плоскодонки, пришвартованной к мосткам, когда на дощатый настил ступила Александра Сергеевна Пушкина.

Народный учитель Российской Федерации, чей ментальный масштаб гранитным прессом давил на неокрепшие умы округа, выглядела обманчиво хрупко. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного филологического ума, облаченные в безупречное твидовое пальто детского размера, замерли у самого края воды.

Ее крошечные ножки, обутые в сшитые на заказ лаковые туфельки, едва весили двадцать пять килограммов вместе с остальным телом и тяжелой душой, но деревянный пирс под ней словно прогибался от веса сорокапятилетнего педагогического стажа и звания Героя Труда. Она смотрела на серую воду, и в ее глазах, обрамленных благородной сединой гу-

стых ресниц, отражался весь трагизм русской словесности.

– Посмотрите на этот горизонт, Митрич, – тихо, певуче произнесла Александра Сергеевна, и голос ее, глубокий, бархатный, никак не вязался с миниатюрной фигурой. – Вода уходит, оставляя обнаженной саму суть земли. Как это созвучно великой, незаслуженно забытой новеллистике Серебряного века! Какая тонкая, хрустальная вязь смыслов таится в рассказе Надежды Тэффи «Трагедия». О, этот трепет неоскверненного детского сердца! Розовый бант, дрожащий на темени юной Танечки, словно хоругвь чистейшей, еще не познавшей земной грязи любви. Котька Закраев... Маленький рыцарь, строящий в своем воображении воздушные замки из гостиных, кабинетов и спален для каждого, кого он любит. Это же чистый, незамутненный абсолют человеческого сострадания! Хлопушка, пахнувшая военным порохом, – метафора грядущих катастроф, предчувствие гибели дворянской идиллии... Тэффи плачет над этой хрупкостью, Митрич. Она воздвигает алтарь надломленному детскому катарсису, где всякая деталь – как слеза младенца у Достоевского...

Хунвейбинов в этот момент неудачно повернулся, задел локтем банку с черной мастикой, и густая, зловонная жижа с чавканьем плюхнулась прямо в речную воду, расплываясь траурной вязкой кляксой.

Александра Сергеевна посмотрела на пятно. Ее ноздри хищно раздулись. Взгляд огромных глаз мгновенно утратил

библейскую кротость, превратившись в два лезвия скальпеля.

– Впрочем, Митрич, если убрать этот гимназический сироп, – резко, со свистом перешла она на ледяной, циничный тон, от которого у поколений двоечников сводило челюсти, – то Тэффи написала гениальное пособие по клинической психиатрии и бытовому распутству. Вы вообще этот текст читали своими пролетарскими глазами? Какая там, к черту, чистота?

Она сделала шаг вперед, физически подавляя опешившего зрителя своим крошечным, но зловещим силуэтом.

– Давайте препарируем эту вашу Танечку. Нам в учебниках малюют образ «рассеянной женской натуры». Чушь! Перед нами классический, эталонный психопат в стадии зародыша. Девочка с семи лет дрессирует личный персонал. Тэффи прямо пишет: она разглаживает платица и смотрит на Котьку «обиженно и надменно», требуя рабского почтения к своему туалету. Это же чистая стерва, у которой вместо эмпатии – черная дыра. Ее «план на жизнь» – родить кучу девочек, одеть их в цвета радуги, а самой идти сзади в сиреновом. Это не фантазия, Митрич, это проект тоталитарного подиума, где все – лишь декорации для ее эго. Она соглашается на брак с Котькой просто потому, что этот пухлый дурачок с ободранными коленками – идеальный коврик для вытирания ног. Ей плевать на его душу, ей «всегда некогда».

Александра Сергеевна цинично усмехнулась, поправляя

воротник пальто.

– А Котька? Нам его жалко? А за что? Мальчик в неполные семь лет демонстрирует тяжелую форму мегаломании и синдром собственника. Мужские, основательные мечты, говорите? Да он в своей голове уже выстроил элитный жилой комплекс и мысленно распределил туда всех родственников по кабинетам и спальням, чтобы осуществлять тотальный патриархальный контроль. Он идет на бал не радоваться, он идет триумфатором. Помните этот пассаж со штанами из маминой юбки? Он мечтает выглядеть «старичком-карликом», потому что знает: в этой уродливой хрени его будут «уважать». В семь лет чувак жаждет не конфет, а суррогатного авторитета! И когда бабушка – единственный адекватный человек в этом дурдоме – срывает с него эти шаровары, у парня рушится мир. Ему нянька врет, что он в бархатном костюме «как старик», и этот латентный шизофреник заставляет себя верить. «Тьмы низких истин...» Каков подлец, а? Сам выбрал жить в иллюзии.

Она подошла к краю настила так близко, что Хунвейбинов затаил дыхание, боясь, что порыв ветра сдует эти двадцать пять килограммов ярости в реку. Но Александра Сергеевна стояла прочно, как вкопанная.

– И вот – апофеоз. Появление кадета. Тэффи называет это «ужасным видением». Для кого ужасным? Для Котькиного эго! Кадетик – обычный восьмилетний пацан, которому выдали суконную форму с настоящими взрослыми брюками.

И все! Весь «незабываемо-прекрасный» внутренний мир Танечки мгновенно оборачивается банальной вещной протипцией. Розовый бант прыгает, она бросает своего «суженого» и бежит вешать хлопущечный колпак на кадета, потому что у того статус, форма и штаны длинные! Тэффи гениально показывает изнанку женского конформизма: Танечке просто нужен самый яркий самец в комнате.

Александра Сергеевна презрительно сплюнула в воду.

– А финал? Котыка сидит на сундуке в коридоре и рыдает. Его приходят утешать. Танечка прибегает и «быстро и равнодушно» чмокает его в щеку. И этот «великий мужчина», этот будущий сенатор и министр, понимая, что его поимели по всем фронтам, включает классическую мужскую защиту – обесценивание. «Мне это не интересно. Мне интересна только хлопущка». Какая низость! Какое трусливое нежелание признать фрустрацию! Он всю жизнь будет мстить своим подчиненным, как пишет Тэффи, только потому, что в детстве не вывез конкуренции с чужими брюками. Рассказ называется «Трагедия», Митрич, но трагедия тут не в разбитом сердце. Трагедия в том, что Тэффи показала нам человечество в миниатюре: бабы – расчетливые шкуры с розовыми бантами, мужики – напыщенные индюки, готовые жрать порох, лишь бы никто не заметил их ничтожества. И все это начинается в возрасте «половины восьмого».

Александра Сергеевна замолчала. Цинизм испарился так же внезапно, как и появился. Она снова выпрямилась, став

похожей на крошечную, суровую статую из слоновой кости.

– Вот так-то, Кузьма Дмитриевич. Завтра пятые классы будут писать у меня по этому тексту эссе. И горе тому, кто посмеет вякнуть про «чистую детскую любовь». Я их самих на сундук в коридоре усажу.

Она развернулась на каблуках и, не прощаясь, пошла прочь по шатким доскам пирса, оставляя зрителя наедине с грязной рекой и экзистенциальным ужасом.

«Три мушкетера», А. Дюма

Майское солнце в провинциальном городе N нагревало асфальт с ленивой жестокостью. Воздух над школьным двором стоял густой, пропитанный запахом цветущей сирени и дешевого вейпа с ароматом клубничного чизкейка. Старшеклассники, эти юные титаны гормональной бури, сидели на корточках за гаражами, лениво сплевывая на одуванчики. В кабинете русского языка и литературы царила мертвенная, торжественная тишина.

За учительским столом, на трех подложенных томах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель и Герой Труда Российской Федерации. Женщина, чей рост составлял ровно девяносто сантиметров, но чей ледяной филологический взгляд заставлял двухметровых хулиганов втягивать головы в плечи, превращая их в подобие испуганных черепах. Ее крошечная ручка с безупречным маникюром покоилась на пухлом томе Александра Дюма.

– О, этот бессмертный галльский дух, – произнесла Александра Сергеевна, и ее глубокий, бархатный альтист заполнил класс, вибрируя под потолком. – Господа, перед нами не просто роман. Это великая симфония юности, гимн абсолютной, хрустальной верности, звенящий над веками, словно клинок из толедской стали. Дюма создал икону дружбы. Помните ли

вы этот священный девиз: «Один за всех, и все за одного»? В этих словах – сакральная тайна рыцарства, готовность отдать жизнь за ближнего своего, презрение к земным благам ради сияющего идеала чести. Четверо мужчин, связанных не кровью, но высшим духовным родством, противостоят коварству целого мира...

Она замолчала, благоговейно прикрыв глаза. Сидевший на первой парте Петя Фикалинский, отчаянный двоечник и гроза параллели, на секунду перестал ковырять в носу и заворуженно уставился на крошечную женщину. Ему показалось, что от ее шиньона исходит слабое сияние. Петя шумно вздохнул, и этот звук нарушил сакральную тишину.

Александра Сергеевна открыла глаза. Сияние исчезло. В зрачках зажглись два фосфорических болотных огонька. Она спрыгнула со стула – мягко, как кошка, – встала на пол и оказалась пятикласснику чуть выше пояса. Но класс мгновенно похолодел.

– Выдыхай, Фикалинский, – сухо отчеканила Пушкина, и от ее прежнего пафоса не осталось и следа. – А теперь забудьте весь этот бред, который я вам только что сказала. Давайте снимем белые перчатки и препарируем эту французскую помойку. Кто такие эти ваши мушкетеры? Если отбросить романтическую шелуху и романсы Боярского, перед нами – банда беспредельщиков, ОПГ на госслужбе, профессиональные тунеядцы и бытовые паразиты.

Она прошлась по классу, стуча крошечными каблучками.

Ее гигантский интеллект буквально физически придавливал притихших школьников к партам.

– Начнем с д'Артаньяна. Семнадцатилетний провинциальный гопник приезжает в столицу. Ни профессии, ни мозгов, в кармане три экю и рекомендательное письмо. Что он делает в первый же день? Провоцирует три дуэли на пустом месте с элитой королевской гвардии. Зачем? От гасконского спесивого эгоизма. Дальше – больше. Этот «герой» влюбляется в Констанцию Бонасье. Женщина замужем, но на святость брака нашему гасконцу плевать. И каков мотив? Он ведь даже не спит с ней сначала, он использует ее как социальный лифт! А когда Констанцию похищают, д'Артаньян вместо поисков любимой... ложится в постель к Миледи! Под чужим именем, заметьте. Он крадет письма, обманом спит с женщиной, пользуясь темнотой, а потом шантажирует ее. Это не рыцарь, господа. Это альфонс и жулик, заслуживающий статьи за мошенничество в особо циничной форме.

Александра Сергеевна остановилась у окна, повернувшись к классу своим крошечным, идеально прямым силуэтом.

– А его святые друзья? Атос – благородный граф де Ла Фер. Набожные филологи исходят слюной от его манер. Но откроем текст. Чувак женился на несовершеннолетней сироте. Увидел у нее на плече клеймо – лилию. Что делает этот образец дворянской чести? Устраивает суд? Вызывает полицию? Нет. Он ее самолично вешает на дереве в лесу! Про-

сто берет и вздергивает жену на суку, потому что его аристократическое эго уязвлено. А потом спивается, превращается в депрессивного алкоголика, который держит своего слугу Гримо в рабстве, запрещая тому разговаривать. Гримо общается жестами, потому что граф в запое не выносит человеческого голоса! Это чистая клиника, Фикалинский. Психиатрия.

Класс сидел не шевелясь. Даже отличница Оксана Лапшичкина забыла, как дышать.

– Портос? – Пушкина презрительно фыркнула. – Жигало на содержании у старой прокурорши. Он крутит романы с пожилыми женщинами ради того, чтобы они оплатили ему экипировку и купили коня. По сути – эскортник XVII века. Арамис? Лицемер и нарцисс. Завтра идет в священники, сегодня тычет шпагой в живот гвардейцам, а между делом подтирает сопли платками своих высокопоставленных любовниц. И вся эта четверка объединяется ради чего? Ради «чести королевы»?

Александра Сергеевна горько ухмыльнулась, и в этой ухмылке была вся глубинная скорбь человека, знающего изнанку людских душ.

– Королева Анна Австрийская – государственная изменница. Она крутит роман с премьер-министром враждебного государства, герцогом Бекингом. И ладно бы просто спала с ним – она дарит ему алмазные подвески, государственное имущество, символ французской короны! Кардинал Рише-

лье – единственный в этой книге вменяемый государственный, который пытается спасти Францию от войны и развала, – стремится эту измену вскрыть. И что делают наши «герои»? Они мчатся в Англию, убивают кучу ни в чем не повинных гвардейцев, которые просто выполняют свой долг и стоят на постах, ради того, чтобы баба смогла скрыть супружескую неверность и политическое предательство! «Один за всех и все за одного» – это девиз круговой поруки мафиозного клана. Они покрывают блуд, воровство и убийства.

Она снова запрыгнула на свои три тома Брокгауза и посмотрела на учеников.

– В финале они устраивают самосуд над Миледи. Женщиной, чью официальную ликвидацию они провернули только потому, что она переиграла их на поле геополитики. Они нанимают палача и отрубает ей голову в полночь у реки. Без суда, без следствия. Четверо здоровых вооруженных мужиков и палач против одной бабы. Чистое, дикое, средневековое убийство из мести. А Дюма продает вам это как триумф справедливости. Человечество – это стадо, господа. Оно готово рукоплескать любому подонку, если тот красиво крутит усы и кричит пафосные лозунги.

Пушкина захлопнула книгу. Звук удара страниц прозвучал как выстрел.

– Запишите домашнее задание, – сухо произнесла она, и ее голос снова стал безупречно вежливым, интеллигентным и далеким. – Сравнительный анализ деструктивного поведе-

ния Атоса и психопатологии Миледи. И не дай бог кто-то напишет мне про «романтику мушкетерской дружбы». Я поставлю вам двойку, с которой вас не возьмут даже в коррекционный класс для умственно отсталых. Свободны.

«Три сестры», А. Чехов

Майское солнце щедро заливало известью облупившийся фасад кабинета русского языка и литературы. В этот предвечерний час, когда пылинки кружились в золотых струях угасающего света, воздух провинциальной школы казался напоенным меланхолией ушедших веков.

За третьей партой у окна, скрестив массивные, покрытые буйной подростковой растительностью ноги, сидел десятиклассник Володя Какахно – главный поэт школьного туалета. Напротив, на специально сконструированном для нее высоком дубовом стуле с тремя подушечками, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Ее крошечные ножки в лаковых туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до пола, мирно покоились на выдвижной подставке. При росте девяносто сантиметров и весе едва ли двадцать пять килограммов, эта хрупкая женщина пенсионного возраста казалась фарфоровой статуэткой, случайно забытой на рабочем месте учителя. Но в ее огромных, навывкате, совиных глазах горел такой безжалостный филологический пламень, что даже Володя спрятал подальше свой вейп.

– Послушайте, Какахно, – прокуренным, бархатным альтом, совершенно несоразмерным ее тельцу, произнесла Александра Сергеевна. Она благоговейно прижала к гру-

ди потрепанный томик. — Какая невыразимая, хрустальная грусть звучит в чеховских струнах... Вы только вслушайтесь в этот стон увядающей дворянской культуры! Три сестры. Три грации, заброшенные роком в глухую провинцию, томящиеся по недостижимому, идеальному миру. «В Москву, в Москву!» — ведь это не просто географический вектор, мальчик мой. Это метафизический порыв чистой, незамутненной души к свету, к истине, к абсолютному благу, среди пошлости и серости гарнизонного бытия. Чехов здесь выступает как нежнейший анатом человеческого духа, сострадающий каждой слезинке, каждому неловкому вздоху этих прекрасных, утонченных женщин...

В этот момент за дверью кабинета раздался дикий, утробный хохот. Одиннадцатиклассница Даша Путанцева, отчаянная оторва и гроза местных ночных клубов, с грохотом пронеслась по коридору, выкрикивая матерную частушку и преследуя какого-то девятиклассника с целью отобрать у него энергетик.

Взгляд Александры Сергеевны мгновенно заledenел. Напускной пафос высокой литературы осыпался с нее, как сухая штукатурка. Она медленно положила книгу на стол, оперлась крошечными ручками о край своей дубовой цитадели и пристально посмотрела на Володьку.

— Ладно, Какашно, забудь эту чушь для министерских проверок, — отрезала Народный учитель РФ, и в ее голосе прорезался металл старого прапорщика. — Давай снимем белые

перчатки и поглядим, какую на самом деле кунсткамеру вывел нам Антон Павлович. Нам сто лет втирают про «высокую трагедию интеллигенции», а на деле «Три сестры» – это клинический разбор бытового паразитизма и группового слабоумия.

Десятиклассник сглотнул. Карликовая учительница сейчас казалась ему пятиметровым титаном.

– Посмотри на этих трех девиц, – продолжила Пушкина, цинично усмехаясь. – Ольга, Маша и Ирина. Им от двадцати до двадцати восьми лет. Здоровые кобылы, извините за мой французский. У них есть дом, прислуга, пенсии после отца-генерала. И что они делают? Они четыре действия сидят на попе ровно и ноют. «В Москву, в Москву!» Слушай, Какашно, от их города до Москвы – три дня на поезде. Билет стоит копейки. Если тебе так душно в провинции, какого черта вы не продали свой огромный дом, не купили квартиру в столице и не уехали? Да потому что в Москве такого говна своего хватает, а тут они – генеральские дочери, местная элита, перед которыми штабс-капитаны на задних лапках ходят.

Она спрыгнула со стула – легко, бесшумно, словно кошка – и зашагала по классу. Ее крошечная фигура почти тонула между рядами парт, но тень от нее, подсвеченная закатным солнцем, ложилась на всю стену.

– Разберем их так называемые «страдания», – Александра Сергеевна загнула маленький пальчик. – Старшая, Ольга. Учительница, прости господи. Вечно уставшая, несчастная,

жалуется, что голова болит. Да она ненавидит свою работу и учениц! Она берет на себя роль мученицы просто потому, что это самый дешевый способ вызывать к себе жалость и ничего не менять в жизни. Средняя, Маша. Выскочила в восемнадцать лет за придурка Кулыгина, который от нее прется, а она теперь ходит с постной миной и корчит из себя Эмму Бовари. Появился Вершинин – такой же профессиональный страдалец, женатый на психопатке. Они нашли родственную душу: два латентных эгоиста, которые обожают не друг друга, а сам процесс коллективного скулежа под гитару.

Пушкина остановилась у доски, резко повернулась к ученику и постучала по ней маленьким кулачком.

– А младшая, Ирочка? О, это мой любимый экземпляр! Лодырь высшей категории. В первом акте она кричит: «Человек должен трудиться!». Пошла работать на телеграф. Во втором акте вой: «Ой, работа без поэзии, я сохну, я глупею!». Перешла в городскую управу – опять не то, опять не ценят ее космическую душу. Ирина хочет не работать, Ирина хочет, чтобы работа была декорацией для ее самолюбования. И финал ее «драмы» – она соглашается выйти за Тузенбаха, которого не любит, просто чтобы он увез ее из этого болота. Ей плевать на человека, он для нее – бесплатный проездной до Николаевского вокзала! И когда Соленый пристреливает этого несчастного барона на дуэли, знаешь, что делает Ирина? Она убивается по живому человеку? Нет! Она плачет о своей сломанной судьбе! «Я знала, я знала!» – кричит. Ме-

лодрама чистейшей воды, завернутая в кружевной платочек. Ей не барона жаль, ей жаль свой разрушенный план побега.

Володя Какахно заворуженно смотрел, как Александра Сергеевна, чьей макушкой можно было мерить уровень стола, препарирует классику с легкостью опытного патологоанатома.

– И вишенка на этом торте из дерьма и рефлексии – Наташа, – Пушкина хищно прищурилась. – Нам ее малюют как мешчанку, которая выжила бедных сестер из дома. Да Наташа – единственный нормальный, живой организм в этом терра-риуме! Она приходит в этот дом забитой дурочкой, над которой эти три фифы открыто ржут из-за французского языка и зеленого пояса. Наташа быстро понимает, что с этими амеба-ми церемониться нельзя. Пока сестры рассуждали о судьбах русской интеллигенции, Наташа нарожала детей, прибрала к рукам недвижимость и построила всех, включая их брат-ца-игрока Андрея. Она – торжество эволюции. Хищник, со-жравший травоядных тунеядцев.

Александра Сергеевна подошла к школьнику вплотную. Ее лицо, несмотря на мелкие морщинки, дышало невероятной интеллектуальной мощью, стиравшей любые физические недостатки.

– Чехов написал не драму, Какахно. Он написал жестокую сатиру на людей, у которых есть все, чтобы быть счастливыми, но они сознательно выбирают гнить заживо, потому что страдать – это так красиво и так необременительно. Запомни

это. А теперь марш отсюда, пока я не заставила тебя переписывать сочинение по этой выставке достижений ментального нищества.

Какашно пулей вылетел из класса. Александра Сергеевна вздохнула, легко запрыгнула обратно на свой высокий стул, поправила подушечку и, бережно открыв Чехова, снова с нескрываемым, упоительным наслаждением погрузилась в текст. Она обожала литературу. Но людей она знала слишком хорошо.

«Три товарища», Эрих Мария Ремарк

Майские сумерки опускались на провинциальный город N густыми, сиреневыми волнами, укутывая облупившиеся фасады хрущевских пятиэтажек романтическим флером. Воздух, напоенный ароматом цветущей черемухи и влажной после грозы земли, казался тягучим, почти осязаемым.

В глубине старого, заброшенного яблоневого сада, прямо на капоте ржавого, вросшего в крапиву «Москвича-412», восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений признавали даже самые прожженные чиновники из облоно, выглядела в этих декорациях монументальным изваянием.

Рост в девяносто сантиметров и вес в двадцать пять килограммов ничуть не умаляли ее величия; напротив, в складках огромного, не по размеру серого плаща она казалась грозным, античным оракулом, заброшенным судьбой в российское захолустье.

Рядом, стыдливо топчась по лопухам, стоял пятидесятилетний автомеханик Валера Песдинов – ее бывший ученик, ковырявший ключом на тринадцать в моторе старого авто.

– Послушай, Валера, как дышит этот вечер, – произнесла Александра Сергеевна голосом глубоким, бархатным, кон-

трастирующим с ее крошечным телом. — Какая невыразимая скорбь и вместе с тем торжество бытия разлиты в этом увядании. Знаешь, о чем я думаю в такие минуты? О великом романе Эриха Марии Ремарка «Три товарища». О, это не просто книга, Валера. Это священное писание о благородстве, о хрустальной чистоте человеческой души, восставшей против ужасов послевоенного хаоса. Какая пронзительная, святая мужская дружба! Какая жертвенная, неземная любовь Робби и Пат! Это гимн верности, заставляющий сердце трепетать от благоговения перед хрупкой красотой человеческого духа, затерянного в жестоком мире...

В этот момент Песдинов, неловко повернувшись, задел локтем ржавое крыло «Москвича». Раздался оглушительный скрежет, кусок гнилого железа с треском отвалился, и механик, грязно выругавшись, выронил ключ прямо в грязь под капотом.

Глаза Александры Сергеевны мгновенно сузились, превратившись в две ледяные щелки. Интеллигентный пафос испарился, словно его и не было. Она резко подобрала под себя крошечные ножки в ортопедических ботинках двадцать четвертого размера и сплюнула на капот.

— Хватит скулить, рукожоп, — отрезала она сухим, звенящим голосом. — Вечно вы, рабочий класс, портите момент своими кривыми клешнями. Впрочем, ладно. Раз уж мы заговорили про Ремарка и его «Товарищей» — господи, какая же это первосортная, рафинированная лажа для инфантиль-

ных дегенератов, если включить хоть каплю мозгов.

Валера Песдинов замер с открытым ртом, утирая мазут со лба.

– Вы же только что говорили... про святую любовь, Александра Сергеевна?

– Я говорила то, что положено говорить, чтобы школота на экзаменах не писала в сочинениях «аффтар жжот», – цинично хмыкнула Пушкина, поправляя воротник огромного плаща. – А теперь сними лапшу с ушей и послушай, что там написано на самом деле. Весь этот хваленый роман – это хроника тотального, беспросветного эгоизма, алкоголизма и паразитизма, завернутая в красивую обертку из коньяка и слезовыжимательной драмы.

Она оперлась маленькой ручкой о капот и подалась вперед, гипнотизируя механика взглядом.

– Давай разберем эту святую троицу – Робби, Отто и Готтфрид. Великие фронтовые братья, да? А по факту – три половозрелых лоботряса, которые не умеют и не хотят жить в мирное время. У них автомастерская. Бизнес? Хрен там. Они целыми днями занимаются тем, что наживаются на чужом горе и глупости. Помнишь, как они разводят на бабки несчастного конторщика после аварии? Это чистой воды мошенничество, Валера. Развод лоха на бабки. И ладно бы они эти деньги пустили в дело. Нет, они их тупо пропивают. Весь роман – это непрекращающийся, глухой запой. Они пьют ром, водку, портвейн, пиво. Если бы они не пили, им

пришлось бы посмотреть в зеркало и признать, что они – социальные трутни, которые умеют только крутить гайки и ностальгировать по окопам, потому что в окопах думать не надо было.

Александра Сергеевна затянулась тонкой сигаретой, которую ловко достала из кармана, и выпустила струю дыма прямо в майский воздух.

– А теперь – сладкое. Их великая любовь: Робби и Патриция Хольман. Все рыдают над бедной девочкой с туберкулезом. А я вижу циничное использование тяжелобольного человека в эгоистических целях. Кто такая Пат? Обедневшая аристократка, утонченная, но смертельно больная. Зачем она Робби? Ему нужен был живой манекен, чтобы оправдать свое никчемное существование. Мужчина, который не способен построить будущее, находит женщину, у которой будущего гарантированно нет. Это же идеальный симбиоз! Ему не нужно брать за нее ответственность на долгие годы, не нужно думать о детях, о доме. Он может красиво страдать, покупать ей шелковые платья на украденные или выигранные в казино деньги и чувствовать себя героем трагедии.

– Но они же... они же заботились о ней! – робко вставил Песдинов.

– Заботились? – Пушкина издала короткий, лающий смешок. – Пат умирает от туберкулеза легких. Физиология, Валера, штука жестокая, это тебе не филологические сопли. Ей нужен покой, горный воздух, санаторий и жесткий режим.

Что делают эти гении дружбы и любви? Они таскают ее по кабакам! Они заставляют ее пить спиртное литрами. Они устраивают ночные дебоши. Робби везет ее на море, где она закономерно выдает тяжелейшее кровотечение. Это не любовь, это пассивное убийство по неосторожности, совершенное группой лиц по предварительному сговору! Они приблизили ее смерть ради своего романтического балагана.

Она спрыгнула с капота на землю – легко, почти бесшумно – и оказалась Валере Песдинову чуть выше пояса. Но ее тяжелый, буравящий взгляд заставил пятидесятилетнего мужика невольно втянуть голову в плечи.

– И вишенка на этом гнилом торте, – Александра Сергеевна ткнула маленьким пальцем в грудь механика. – Отто Кестер продает «Карла» – любимую гоночную машину, смысл своей жизни, – чтобы оплатить лечение Пат в санатории. Ах, какой жест! Какое самопожертвование! А на деле? Это банальный откуп от собственной совести. Они довели девку до ручки своим образом жизни, а когда запахло жареным и трупом, решили швырнуть деньги в топку ее неизлечимой болезни, чтобы сказать себе: «Ну, мы сделали все, что могли». Пат все равно умирает. Кестер остается без машины. Ленц получает пулю на улице от залетного радикала, потому что вместо нормальной жизни играл в революцию на митингах. Робби остается один у разбитого корыта, с бутылкой рома и полным отсутствием перспектив.

Она брезгливо отряхнула плащ от невидимой пыли и по-

смотрела на заходящее солнце.

– Ремарк гениален, Валера. Он написал великую книгу о том, как красиво, под звуки рояля и звон бокалов, просрать свою жизнь, прикрываясь высокими идеалами. Логический тупик эпохи. Ладно, собирай свои железки. На следующей неделе у меня открытый урок по Толстому. Придешь и сядешь на заднюю парту. Внуков приводи. Будем разбирать, почему Наташа Ростова – обычная самка с гормональным сбоем, а Пьер Безухов – типичный куколд.

Александра Сергеевна повернулась и быстрыми, решительными шагами направилась прочь из сада, забавно перебирая маленькими ножками. Валера остался стоять у «Москвича», растерянно глядя ей вслед и впервые в жизни испытывая непреодолимое желание перечитать школьную программу.

«Три толстяка», Ю. Олеша

Июньский предзакатный туман лениво выползал из поймы речушки, окутывая заброшенный лодочный пирс на окраине города N. Тяжелые, маслянистые капли росы оседали на гнилых бортах перевернутых плоскодонок, и в этой сырой, сонной тишине было что-то от левитановской осени, застывшей во времени.

На самом краю дощатого настила, на перевернутом пластиковом ведре из-под шпатлевки, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Со стороны могло показаться, что какой-то нерадивый ребенок забыл у воды дорогую фарфоровую куклу: детский размер одежды, крошечные лакированные туфли, едва зацепившиеся за край доски, и идеальная, прямая, как стрела, спина. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного филологического превосходства.

Рядом, зябко кутаясь в демисезонную куртку, стоял Семен Йопс – бывший ученик, а ныне тридцатилетний капитан местной патрульно-постовой службы, привезший своего старого педагога «подышать рекой».

– Посмотрите на этот горизонт, Сенечка, – тихо, почти интимно пропела Александра Сергеевна, и ее густой, бархатный альт, никак не вяжущийся с двадцатью пятью килограммами живого веса, поплыл над водой. – Какая акварельная размытость бытия... Знаете, в такие минуты я все-

гда вспоминаю Юрия Карловича Олешу. Какая хрустальная, незамутненная метафорика! Его «Три толстяка» – это же не просто сказка, это реквием по уходящей эстетике, гимн чистой, незапятнанной юности. Помните, как там пахнет ветром, революцией и карамелью? Какое величие духа в докторе Гаспаре Арнери, преданном науке, какая самоотверженность в гимнасте Тибуле! Это триумф света над бездушной, плотоядной материей трех правителей. Олеша создал монументальное полотно о том, как чистое искусство и народный гнев разбивают железные оковы тирании...

В этот момент из камышей с диким утробным кряканьем сорвалась жирная-прежирная утка, преследуемая облезлым бродячим псом. Пес с размаху влетел в прибрежную грязь, громко и смачно чавкнув жижей.

Александра Сергеевна на секунду замерла. Глаза ее, огромные и темные на крошечном, покрытом благородными морщинами лице Народного учителя РФ, сузились. В них полыхнул холодный, хирургический блеск.

– Господи, Сенечка, какая же это все-таки несусветная, дистиллированная чушь, – сухо и резко отрезала она, мгновенно растеряв весь свой демиургический пафос. – Насрали в уши нескольким поколениям четвероклассников, а те и рады умиляться. Ты вообще эту книжку во взрослом возрасте перечитывал? Нет, конечно, ты же у нас теперь закон бережешь, тебе думать некогда. А ты вчитайся. Это же не революция, это бенефис конченных психопатов, инфантилов

и бытовых паразитов.

Семен Йопс вздрогнул и подобострастно затих, зная, что в эти минуты физические габариты его бывшей классной руководительницы расширяются до размеров циклопической башни, готовой рухнуть и раздавить любого.

– Давай снимем этот сусально-бархатный слой и посмотрим на факты, – Александра Сергеевна достала из крошечного ридикюля длинную тонкую папиросу и, ловко щелкнув зажигалкой, затянулась. – Кто такой доктор Гаспар Арнери? Нам его продают как великого ученого. По факту – старый, трусливый аутист с синдромом дефицита внимания, который всю жизнь прожил в башне, не замечая, что за окном творится хтонический кабздец. И тут к нему приносят куклу наследника Тутти. Сломалась, видишь ли, игрушка у малолетнего мажора. И этот «титан мысли», вместо того чтобы послать опричников на хрен или забаррикадироваться, впадает в истерику, теряет куклу, а потом подсовывает вместо механизма живую, голодную двенадцатилетнюю девчонку! Живую, Сеня! В цитадель трех вооруженных до зубов олигархов, где за малейший косяк четвертуют. Это не ученый, это Эпштейн на минималках, соучастник торговли детьми и подстрекатель к педофилии в особо извращенной форме.

Она выпустила идеальное колечко дыма, которое тут же разорвал речной ветер.

– А циркачи? О, эти «светлые борцы за свободу»! Гимнаст Тибул и маленькая акробатка Суок. Давай честно: ти-

пичные бродячие гастарбайтеры без регистрации, с явными признаками девиантного поведения. Твой любимый контингент, Сенечка. Тибул, когда за ним гонятся гвардейцы, прыгает по крышам, а потом что делает? Правильно, заваливается в окно к доктору Гаспару, сжирает его запасы и заставляет почтенного ученого красить себя в черный цвет. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Blackface как средство маскировки от тоталитарного режима – это же гениально! А Суок? Девочку с детства дрессировали крутить задом на площади перед пьяной матросней, у нее психика разрушена в хлам. И вот эту малолетнюю каскадершу отправляют шпионить во дворец. Ради чего? Ради того, чтобы спасти оружейника Просперо!

Александра Сергеевна презрительно фыркнула, едва не свалившись с ведра, но удержала равновесие с цепкостью циркового эквилибриста.

– Просперо – это вообще отдельная песня. «Вождь восстания». Нам его рисуют как Прометея. А он сидит в железной клетке в зверинце и триста страниц просто жрет сырое мясо, которое ему бросают. Весь его революционный пафос заключается в том, что у него огромная рыжая грива и он умеет громко рычать на надсмотрщиков. Чистый, незамутненный люмпен-террорист, у которого из всей программы – только желание разграбить кондитерские склады Толстяков. Никакой идеологии, Сенечка. Обычный передел рынка сахара и муки.

Она сделала паузу, с наслаждением глядя на вытянутое лицо капитана ППС.

– Но самый циничный финал этой трагикомедии – это, конечно, тайна наследника Тутти. Помнишь, в конце выясняется, что Тутти и Суок – разлученные в детстве брат и сестра? И что Толстяки приказали ученому Тубу заменить мальчику сердце на железное, чтобы он вырос жестоким? Так вот, Туб отказался, и его за это сгноили в клетке. Но вот что забавно – у Тутти **ВСЕ РАВНО ОСТАЛОСЬ ЖИВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ!** То есть пацан рос в абсолютной роскоши, в окружении трех жирных свиней, жрал пирожные от пуза, смотрел, как за окнами расстреливают рабочих, и ему было **АБСОЛЮТНО ПОХРЕН**. У него не было железного сердца, Сеня! Он был подонком по праву рождения и воспитания! И когда в финале этот малолетний буржуй обнимает Суок и они вместе поют песенки – это не победа революции. Это классический рейдерский захват. Семья воссоединилась, имущество Трех Толстяков перешло к законным наследникам – Тутти и Суок, а цирковая шваль и тупорылый пролетариат под предводительством Просперо снова пойдут сосать лапу на площади, пока Гаспар Арнери будет выписывать себе новые микроскопы из-за границы за счет госбюджета. Вот тебе и «чистая юность», товарищ Йопс. Обычный сицилийский клан под маской бродячего театра.

Александра Сергеевна бросила окурочек в воду. Тот коротко пшикнул и исчез в темной глубине. Она повернула изящ-

ную голову к замершему офицеру полиции и улыбнулась – тонко, страшно, бесконечно мудро.

«Трое в лодке, не считая собаки», Джером К. Джером

Город N утопал в липкой майской истоме. Пыль, поднятая полуденным зноем, лениво оседала на резные наличники обветшалых домиков, раньше принадлежавших купцам, где время будто сгустилось в приторный сироп. Воздух над высыхающей речкой вонял тиной и мазутом, но в кабинете русского языка и литературы царил дух викторианской меланхолии.

Вдоль классной доски, едва доставая макушкой до нижнего края, медленно, с достоинством английского лорда шествовала Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного величия. Народный учитель носила строгий твидовый костюм, сшитый на заказ в ателье «Нитки-Шмотки», но сидел он на ней как королевская мантия. Ее крошечные ладони сжимали старинное издание 1889 года. Огромный, породистый лоб филолога, казалось, транслировал в душный класс сияние чистого разума.

Шестой «Г» традиционно представлял собой антропологическую катастрофу. На задних партах тупорылый амбал Толик Дирьмовский ковырял циркулем парту, а с передних сидений разило дешевым вейпом и гормональным отупени-

ем. Но Александра Сергеевна не замечала плебса. Она смотрела сквозь них – в туманные дали Темзы.

– Господа, – ее низкий, бархатный альт заставил Дирьмовского вздрогнуть. – Сегодня мы открываем чистейший родник британского духа. Джером Клапка Джером. Повесть «Трое в лодке, не считая собаки». О, этот великий, непревзойденный гимн человеческому гедонизму и английскому юмору! Посмотрите, как автор филигранно живописует предрассветный туман, окутывающий сонные берега Соннинга. Какая акварельная нежность в описании старых шлюзов, помнящих шаги королей! Три джентльмена, три чистые, утомленные цивилизацией души, сбегает от суеты Лондона, чтобы слиться с природой. В их невинном путешествии столько поэзии, столько трепетного преклонения перед тишиной, викторианским уютом и благородным товариществом...

В этот момент Толя Дирьмовский, не рассчитав траекторию, с грохотом уронил на пол пластиковую бутылку с квасом. Квас зашипел, заливая линолеум пеной.

Александра Сергеевна остановилась. Она медленно повернула голову. Из-под тяжелых век на шестиклассника взглянуло существо, знавшее о людях все – и презиравшее каждую крупницу этого знания. Рост лилипутки заставил ее смотреть на класс снизу вверх, но ее ледяной, уничтожающий авторитет вмиг опустил потолок кабинета прямо на головы учеников.

– Вытри это, животное, – ласково, почти шепотом произнесла Пушкина. Стил ь XIX века испарился, уступив место хирургическому скальпелю. – Вытри и не смей прерывать меня, когда я препарирую классику. Впрочем, Дирьмовский, твой квас – идеальная метафора для этой книги. Нам сто лет втирали, что это просто комедия с неустаревающим юмором. Чушь. Хрестоматийный бред для слабоумных методистов.

Она легко взгромоздилась на специальный высокий стул, скрестила крошечные ножки и обвела класс циничным взглядом.

– Джером написал великий, страшный текст о клиническом эгоизме, тотальной деградации и бытовой шизофрении. Давайте снимем эти розовые сопли и посмотрим на содержание. Три взрослых лоботряса – Джей, Джордж и Гаррис – страдают от беспросветного безделья в Лондоне. Что они делают первым делом? Открывают медицинский справочник и диагностируют у себя все болезни, кроме родильной горячки. Шестой класс, включите остатки межушного ганглия: это же чистая, дистиллированная ипохондрия сытых бездельников! Им скучно. Им настолько нехрен делать, что они решают поплыть на лодке, обманывая себя мыслью о «здоровом образе жизни».

Александра Сергеевна хлестко ударила ладонью по книге.

– Но понаблюдайте за их поведением в замкнутом пространстве. Это же парад скрытых психопатологий. Они не

умеют делать абсолютно ничего. Помните дядюшку Поджера, который вешает картину? Эта интермедия – не юмор. Это страшный диагноз инфантилизму викторианского мужчины, который ради вбивания одного гвоздя ставит на уши всю семью, калечит троих людей, ломает мебель, а потом искренне считает себя гением труда. Сам Джей – нарцисс и патологический лжец. Он хвастается, как лихо работает, когда другие потеют, и тут же строит из себя романтического поэта.

Она спрыгнула со стула, сделала два шага и заглянула в глаза отличнице Кате Беконовой.

– А Гаррис? Беконова, ты ведь плакала над сценой с лабиринтом в Хэмптон-Корте? А теперь посмотри на изнанку. Гаррис – латентный садист и махровый кретин. Он берет карту, ведет за собой толпу невинных туристов, обещая им легкий выход, а в итоге засаживает их в тупик на три часа, где люди начинают проклипать своих матерей. И что делает Гаррис? Он смеется! Ему весело, что он уничтожил чужой выходной. А Джордж? Человек спит в банке с десяти до четырех, а единственное его социальное достижение – это умение играть на банджо, от которого дохнут собаки и вешаются соседи. Это не джентльмены, господа. Это трое социально опасных паразитов, запертых в деревянном корыте.

Класс замер, боясь дышать. Дирьмовский застыл с тряпкой в руке. На девяностосантиметровую учительницу они смотрели как на титана, безжалостно рушащего их детский мир.

– Но апофеоз этой экзистенциальной драмы, – Александра Сергеевна зловеще улыбнулась, – это ирландское рагу. Помните, как они собрали в котелок все объедки, тухлый бекон, недоеденный пудинг и нечищенный картофель? Они создали кулинарный аборт. И тут появляется пес Монморанси, который тащит к котелку дохлую водяную крысу в качестве вклада в общее дело. И они еще всерьез спорили, стоит ли ее туда крошить! Понимаете? Три дегенерата и собака пытаются сварить свою никчемную жизнь из мусора, эгоизма и дохлых крыс, выдавая это за «английский сплин». Они бегут от цивилизации, но тащат в лодку все свои пороки: лень, жадность, неумение договариваться и патологическую глупость. Великий юмор Джерома заключается в том, что он показал нам зеркало. И в этом зеркале, господа, отражаетесь вы. Такие же ленивые, амбициозные и абсолютно бесполезные потребители кислорода.

Она подошла к окну, подставив крошечное лицо лучу жаркого провинциального солнца. Прозвенел звонок.

– Домашнее задание, – сухо бросила Александра Сергеевна, не оборачиваясь. – Написать эссе на тему «Почему пес Монморанси – единственный вменяемый персонаж повести». И упаси вас бог списать это с «Готовых домашних заданий». Я вычислю автора по первому же абзацу и заставлю вас жрать ирландское рагу собственного сочинения. Свободны.

Троепольский Гавриил Николаевич

Высокое, блеклое небо Воронежского края лежало над ковыльной степью, словно застиранная холстина, под которой томилась густая полуденная тишь. Земля, взрезанная некогда плугом первопроходца, источала сухой горьковатый аромат полыни и чабреца – тот самый исконный дух южнорусской равнины, что заставляет сердце русского человека сжиматься в сладкой, необъяснимой тоске.

Вдали, где горизонт плавился в знойном мареве, чудились силуэты вековых дубрав, хранивших память о петровских верфях и тихих чистых людях, чья жизнь протекала в гармонии с каждым стебельком и вздохом природы. Именно здесь, в этой благословенной глуши, рождалась та хрустальная целомудренная проза, способная очистить очерстевшую душу.

Александра Сергеевна Пушкина сидела в своем продавленном кресле посреди типовой хрущевки провинциального города N. На народных учительских плечах покоилась пуховая шаль, а туфли двадцать четвертого размера едва приметно покачивались в воздухе, не доставая до пола добрые полметра.

Перед ней на журнальном столике стояла запотевшая бу-

тылка самодельной настойки на калгане и сушеных лесных ягодах – подарок от деда одного из бывших двоечников, ныне промышлявшего браконьерством в хоперских лесах.

– Какая первозданная, пронзительная чистота... – прошептала Александра Сергеевна, бережно прижимая к груди томик с надписью «Белый Бим Черное ухо». – Какой великий гуманизм кроется в этой неброской, но глубокой верности родной земле. Гавриил Николаевич ведь не просто писал о природе. Он молился на нее. Его слово – это тихий колокольный звон над засыпающей деревней, где каждый старик – мудрец, а каждая собака – мерило нашей утраченной совести. Какая святая, звенящая боль...

Она благоговейно налила в граненую стопку темно-рубиновую жидкость, пахнущую прелой дубовой корой, и единым махом осушила ее.

В глазах резко потемнело. Комната качнулась, книжный шкаф с собранием сочинений Белинского ухнул куда-то вниз. Александра Сергеевна зажмурилась, тихо выругалась про себя – она опять забыла, что домашний калган сорокового градуса имеет странное свойство пробивать пространственно-временной континуум в ее филологическом мозгу.

Когда она открыла глаза, вместо чехословацкой стенки перед ней высился массивный бревенчатый сруб. Пахло махоркой, дегтярным мылом и речной сыростью. За грубо сколоченным столом сидел крепкий, сухопарый мужчина в поношенном пиджаке, с лицом среднерусского апостола и хитры-

ми глазами бывалого агронома. Он задумчиво строгал топориком деталь для рыболовной верши.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.